«ПО ПРАВУ КРОВИ»



НЕВЕСТА ТЁМНОГО ПЛАМЕНИ

Наталья Бондаренко

Наталья Бондаренко

Невеста тёмного пламени

«Автор»
2026

Бондаренко Н.

Невеста тёмного пламени / Н. Бондаренко — «Автор», 2026

Меня продали. Не выдали замуж — продали, как строку в договоре между двумя домами, что четыре десятилетия резали друг друга.Мой жених — Кассиан Хельгрейв. Князь тьмы. Чудовище, которым пугают детей. Человек, чей род я обязана ненавидеть по праву крови.Но в первую же ночь древний обряд связывает нас нитью, которую не разорвать: истинная пара. Порознь мы угасаем и умираем. Вместе наша магия сжигает всё.Я ненавижу его. Я хочу его. И чем ближе я узнаю правду — кто на самом деле стравил наши дома и зачем, — тем яснее понимаю: враг не он. Враг тот, кто сорок лет дёргал за ниточки из тени. И он ещё не сыграл свою последнюю карту.

© Бондаренко Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Разменная 5
Глава 2. Чудовище 8
Глава 3. Ритуал 12
Глава 4. Под одной крышей 16
Глава 5. Цена оружия 20
Глава 6. Вкус огня 24
Глава 7. Быт врагов 28
Глава 8. Первое касание 32
Глава 9. Галерея мёртвых 36
Глава 10. Срыв 40
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Наталья Бондаренко
Невеста тёмного пламени

Глава 1. Разменная

Лиара

О том, что меня продали, я узнаю не от отца.

Я узнаю это от служанки, которая роняет кувшин.

Вода расплёскивается по мрамору, осколки разлетаются к моим босым ногам, а Марета стоит, прижав ладони ко рту, и смотрит на меня так, как смотрят на покойника, которого ещё не успели оплакать. В её глазах — жалость. Я ненавижу жалость больше, чем ненавижу осколки под ногами.

— Говори, — приказываю я.

— Леди Лиара, я не должна…

— Ты уже начала. — Я переступаю через лужу, и вода обжигает холодом. В Солнечном Пределе даже вода холодная, что бы ни говорили менестрели о тепле нашего рода. — Договаривай.

Марета опускает глаза.

— Весь замок говорит. Совет решил ночью. Вас… вас отдают в род Хельгрейв. Невестой наследнику.

На мгновение свет в окнах кажется мне слишком ярким. Белый камень, белые занавеси, слепящие зеркала — весь этот показной свет Аль-Ривенов бьёт по глазам, и я почти не вижу лица служанки. Только слышу, как внутри меня что-то обрывается и падает очень долго, не достигая дна.

Хельгрейв.

Род тьмы. Род, чьё имя у нас произносят, понизив голос, будто оно само по себе проклятие. Род, с которым мы режем друг друга три поколения.

И меня отдают туда. Как монету. Как плату.

— Кто решил, — говорю я. Это не вопрос. Я уже знаю.

— Ваш дед, миледи.

Конечно, дед.

Я разворачиваюсь и иду по коридору так быстро, что Марета не поспевает, и её «леди Лиара, вам нельзя к совету!» отстаёт от меня на три шага, на пять, на десять. Босые ноги шлёпают по холодному мрамору. Где-то за спиной остаётся разбитый кувшин — маленькая, глупая вещь, которую теперь кто-то будет убирать, и это почему-то кажется мне важнее всего остального.

Потому что про остальное я думать пока не могу.

Двери в зал совета высокие, в два моих роста, покрытые золотым листом с чеканкой солнца — герб рода. Перед ними двое стражей, и когда я подхожу, они скрещивают алебарды.

— Совет закрыт, леди.

— Совет решает мою судьбу. — Я смотрю на старшего, на Ордрина, который учил меня держать меч, когда дед думал, что я учусь вышивать. — Пропусти, Ордрин.

В его лице что-то дёргается. Он знает. Все знают. Весь этот сияющий, лживый замок знал раньше меня.

— Я не могу, миледи. Приказ.

Я могла бы поджечь алебарды. Огонь откликается во мне мгновенно, он всегда рядом, у самой кожи, горячий и злой, как я сама. Я чувствую, как накал поднимается от груди к ладоням, как воздух у пальцев начинает дрожать.

И я гашу его.

Не потому что боюсь. Потому что знаю: если я сейчас войду туда с огнём в руках, дед получит ровно то, что ему нужно, — доказательство, что я неуправляема, что от меня одни беды, что меня и правда не жалко отдать.

Я не доставлю ему этого удовольствия.

— Хорошо, — говорю я ровно. — Я подожду.

И я жду. Прямо здесь, на холодном мраморе, босая, в ночной сорочке, под взглядами стражей, которые не знают, куда девать глаза. Я жду долго. Свет в окнах из белого становится золотым, потом медовым. У меня немеют ноги. Я не двигаюсь.

Когда двери наконец открываются, первым выходит дед.

Лорд Эдриан Аль-Ривен несёт свои семьдесят лет так, будто это корона. Прямая спина, седые волосы убраны назад, светлые глаза — те же, что у меня, только в его нет огня, в его только расчёт. Он видит меня, сидящую на полу его зала совета, и не выказывает ни удивления, ни стыда.

— Встань, — говорит он. — Ты позоришь род.

— Род позорит меня. — Я поднимаюсь, медленно, чтобы не показать, как затекли ноги. — Хельгрейв, дед? Ты отдаёшь меня чудовищам?

— Я заключаю мир.

— Моим телом.

— Твоим долгом. — Он произносит это слово так, будто кладёт камень на весы. — Ты дочь этого рода, Лиара. Ты родилась с нашим огнём и нашим именем. За всё это платят. Пришёл твой срок платить.

Я смотрю на него и ищу в его лице хоть трещину. Хоть тень сомнения. Хоть что-то, за что можно уцепиться и сказать себе: ему тяжело, он не хотел, у него не было выбора.

Ничего нет. Только весы в его глазах, на которых я вешу ровно столько, сколько весит перемирие с родом тьмы.

— А если я откажусь, — говорю я.

— Ты не откажешься.

— А если да.

Дед вздыхает — так вздыхают, когда ребёнок не понимает очевидного.

— Тогда вместо тебя поедет твоя сестра. Ей четырнадцать. — Он поправляет перстень на пальце, не глядя на меня. — Я подумал, ты предпочтёшь избавить её от этого. Я мог ошибиться.

И вот она, трещина. Только не в нём. Во мне.

Потому что он прав, старый расчётливый ублюдок. Я предпочту. Он знал, что я предпочту, ещё до того, как я вошла. Он всё просчитал — он всегда всё просчитывает, — и оставил мне выбор, который не выбор вовсе.

Огонь снова поднимается к ладоням. На этот раз я не спешу его гасить. Пусть видит.

— Я поеду, — говорю я. — Но запомни одно, дед.

— Говори.

— Ты отдаёшь Хельгрейвам не невесту. — Я подхожу ближе, так близко, что вижу каждую морщину на его лице, и позволяю жару коснуться воздуха между нами, чтобы он почувствовал. — Ты отдаёшь им нож. И однажды кто-то в Чёрном Шипе проснётся с этим ножом в горле. Может, их наследник. Может, я сама. Но кровью это кончится. Ты этого хотел для мира?

Дед долго смотрит на меня. А потом делает то, чего я не прощу ему до конца жизни.

Он улыбается.

— Вот теперь, — говорит он тихо, — ты наконец-то похожа на Аль-Ривен.

И уходит. Светлый, прямой, довольный. Оставляя меня с огнём в ладонях и клятвой, которую я только что дала вслух, при свидетелях, сама не понимая ещё, насколько всерьёз.

Меня собирают в дорогу три дня.

Три дня меня моют, одевают, обвешивают золотом рода — чтобы Хельгрейвы видели, кого получают, чтобы ни одна нить на мне не намекнула, что отдают «не жалко». Три дня сестра приходит ко мне ночами и плачет в мои колени, а я глажу её по волосам и вру, что всё будет хорошо, что чудовища живут только в сказках, что я вернусь. Три дня я не сплю.

На четвёртое утро меня сажают в карету.

Она чёрная. Это первое, что бьёт меня, когда я выхожу во двор: Хельгрейвы прислали за мной свою карету, и она чёрная, как обугленная кость, без единого украшения, запряжённая четвёркой вороных. Рядом с белым камнем Солнечного Предела она выглядит как дыра, прожжённая в ткани мира. Как то, во что я въезжаю.

Дед не выходит проводить. Отец выходит — бледный, с виноватыми глазами, он всегда был слабее деда и всегда делал, что велено, — и говорит мне какие-то слова, которые я не слышу. Сестра цепляется за мою руку, пока её не отрывают.

Я сажусь в чёрную карету. Дверца закрывается, отсекая свет.

И мы едем на север. Туда, где кончается земля Аль-Ривенов и начинаются скалы. Туда, где небо, говорят, не бывает чистым. Туда, где меня ждёт мужчина, которого я поклялась убить, хотя ни разу его не видела.

Дорога занимает два дня. На исходе второго за окном темнеет раньше срока — не от ночи, а от туч, которые не уходят отсюда никогда, — и возница что-то кричит лошадям.

Я отодвигаю чёрную занавеску.

И вижу его. Чёрный Шип.

Крепость стоит на самом краю скалы, над морем, которое бьётся внизу так далеко, что его грохот доносится лишь шёпотом. Башни чёрного камня впиваются в низкое небо, как пальцы утопленника. Ни одного тёплого огня в окнах — только холодный, синеватый свет, от которого по спине ползёт озноб. Вокруг — сумерки, хотя сейчас должен быть день. Над воротами развёрнуто знамя с гербом Хельгрейвов: чёрный шип, обвитый тенью.

Это не замок. Это могила, которая ещё не знает, кого в ней похоронят.

Карета катится к воротам, и они открываются ей навстречу — медленно, беззвучно, будто сами, — и я понимаю, что меня ждали. Что где-то там, за этими стенами, стоит он и знает, что я уже близко.

Я сжимаю в кулаке единственное, что привезла с собой сверх приданого. Маленький нож. Я спрятала его в шнуровке платья три дня назад, пока меня одевали, и никто не заметил.

Пусть они думают, что получают невесту.

Карета въезжает в ворота Чёрного Шипа, и они закрываются за моей спиной с глухим, окончательным звуком — так закрывается крышка.

Глава 2. Чудовище

Кассиан

Я чувствую её раньше, чем вижу.

Это неправильно, и я отмечаю эту неправильность холодно, как отмечаю трещину в стене или фальшь в голосе просителя. Карета ещё за воротами, ещё катится по последнему подъёму к Чёрному Шипу, а у меня под рёбрами уже что-то натягивается — тонко, настойчиво, как струна, которую кто-то тронул в тёмной комнате.

Я стою на верхней галерее внутреннего двора и смотрю вниз, на распахнутые ворота, и говорю себе, что это сквозняк. Что это море бьётся о скалы внизу и отдаётся в старых костях крепости. Что это голод — я не ел с утра.

Я лгу себе умело. У меня была хорошая школа.

— Она въехала, мой князь, — говорит Ворон за моим плечом.

Я не оборачиваюсь.

— Я вижу.

Чёрная карета вкатывается во двор, и вороные встают, роняя пену с удил. Возница — мой, я посылал его за ней, потому что не доверил бы Аль-Ривенам даже лошадей, — спрыгивает и откидывает подножку. Руки у него подрагивают. Все в этом замке последние дни ходят так, будто воздух налит свинцом.

Потому что все знают, кого привезли. Дочь рода, который отравил мою мать.

Струна под рёбрами натягивается туже.

— Открой, — говорю я.

Возница тянет дверцу.

И она выходит.

Первое, что я вижу, — это огонь. Не магия, нет, она держит магию при себе, я бы почувствовал накал. Волосы. Рыжие, как угли на последнем издыхании костра, убранные небрежно, будто она сама вырывала из причёски шпильки всю дорогу. Потом — платье. Белое с золотом, тяжёлое от шитья, парадное, в таких хоронят и выдают замуж, и разницы между этими двумя обрядами в нашем мире немного. Её обвешали золотом с ног до головы. Аль-Ривены хотят, чтобы я видел: они отдают не нищенку, не позорную дочь, а сокровище.

Я знаю эту игру. Чем богаче убрана жертва, тем ничтожнее она для того, кто её отдаёт. Золото — это извинение перед собственной совестью. Настоящую ценность не заворачивают в фольгу.

Значит, девчонка им не нужна. Хорошо. Значит, за неё не будут мстить сверх приличий.

Она поднимает голову и находит меня взглядом сразу — через весь двор, через сумеречный воздух, минуя стражу, минуя Ворона, — будто её тоже вела та же струна. Наши глаза встречаются.

Зелёные. Я почему-то думал, что золотые, как у всех их солнечной породы. Но у неё зелёные, цвета болотного огня, того, что горит над трясиной и заводит путников в топь. И в них нет ни страха, ни слёз, ни мольбы.

В них — расчёт, как у меня.

Струна под рёбрами дёргается так сильно, что я почти делаю шаг вперёд. Почти. Я останавливаю себя за долю мгновения до того, как тело выдаёт меня, и загоняю это чувство глубоко, туда, где держу всё, что мешает.

Что это, во имя Тьмы.

— Красивая, — тихо замечает Ворон. — Не повезло.

— Помолчи.

Я спускаюсь во двор. Медленно. Я научился ходить так, что люди успевают испугаться раньше, чем я подойду, — это дешёвый трюк, но он бережёт время. Стража расступается. Слуги опускают глаза. Тени у стен тянутся ко мне, как собаки к хозяину, — я не зову их, они приходят сами, им нравится, когда я зол.

А я зол. Я понимаю это только сейчас, подходя к ней. Я зол уже много дней, с тех пор как отец вошёл в мой кабинет и положил на стол королевский указ, и сказал: «Ты женишься на их девке, и мы покончим с войной на наших условиях». Я зол на отца, на Корону, на мёртвую войну, которая сожрала мою мать и всё ещё хочет есть. И теперь вся эта злость находит себе лицо — её лицо, бледное, в веснушках, с упрямым подбородком, — и это так удобно, что я почти благодарен.

Ненавидеть человека проще, чем ненавидеть обстоятельства.

Я останавливаюсь в трёх шагах. Ближе не иду. Ближе — опасно, я уже понял, хотя ещё не знаю почему.

— Леди Аль-Ривен, — говорю я. Имя её рода я произношу так, как произносят название болезни.

— Лорд Хельгрейв. — Она отвечает тем же тоном, слово в слово, и это дерзко настолько, что Ворон за моей спиной втягивает воздух.

Никто не говорит со мной так. Никто не осмеливался уже много лет.

Я разглядываю её открыто, невежливо, как разглядывают вещь. Она терпит это, не опуская глаз, и только на скуле у неё дёргается мышца — единственное, что выдаёт, чего ей это стоит. Она устала. Под глазами тени, губы обветрены дорогой. Она не спала, может быть, несколько ночей. И всё равно стоит прямо, будто это она меня осматривает, а не наоборот.

— Говорят, вы чудовище, — произносит она вдруг. — Я ожидала чего-то более… впечатляющего.

За моей спиной кто-то из стражи делает движение. Я поднимаю руку — чуть, два пальца, — и всё замирает.

— А я ожидал, что Аль-Ривены пришлют кого-то, кто умеет держать язык, — говорю я. — Мы оба разочарованы. Это хорошее начало для брака.

Что-то вспыхивает в её глазах. Не огонь — его она всё ещё держит, умница, — а что-то живое, почти похожее на смех. И струна под рёбрами отзывается на это так, что мне приходится сжать челюсть.

Прекрати, говорю я себе. Прекрати немедленно.

Я не понимаю, что со мной. Я смотрел на красивых женщин раньше и оставался холоден — холод мне служит, холод меня хранит. А здесь, с этой, с девкой рода, который влил яд в вино моей матери на переговорах о таком же вот мире, — здесь во мне что-то тянется к ней помимо воли, и это настолько мерзко, настолько похоже на предательство, что к горлу подкатывает тошнота.

Может быть, это их магия. Аль-Ривены — свет и обольщение, может, она источает какой-то морок, не нарочно, просто по крови. Я цепляюсь за эту мысль. Да. Это морок. Это не я.

— Идёмте, — говорю я резче, чем хотел. — Вам покажут ваши покои. Свадьба через три дня. До тех пор мы с вами не увидимся, и, поверьте, я приложу все усилия, чтобы не видеться и после.

— Какое совпадение. — Она подбирает тяжёлые юбки. — Я приложу те же усилия. Возможно, это единственное, в чём мы с вами когда-либо сойдёмся, лорд Хельгрейв.

Она идёт мимо меня к дверям, которые ей указывает Тьерра — девчонка-служанка, которую отец зачем-то приставил к будущей княгине, — и когда она проходит в трёх шагах от меня, струна под рёбрами натягивается до предела, до звона, до боли.

И я чувствую запах. Дым и что-то сладкое под ним — нагретая солнцем смола, яблоневый цвет. Запах, которого здесь, в моём краю вечных сумерек, не было никогда. Запах тепла.

Я стискиваю зубы так, что ломит виски, и жду, пока она уйдёт.

Когда двери за ней закрываются, струна наконец отпускает. Я перевожу дыхание — и только теперь замечаю, что всё это время дышал мелко, как зверь перед прыжком.

— Мой князь. — Ворон подходит ближе, понизив голос. — С вами всё…

— Да. — Я отрезаю. — Проследи, чтобы её не выпускали из западного крыла. И приставь человека, которому доверяешь, не из болтливых.

— Думаете, сбежит?

Я смотрю на закрытые двери.

— Думаю, — говорю я, — что она привезла с собой нож.

Ворон замирает.

— Её обыскивали на воротах?

— Нет. — Я и сам не знаю, откуда это знаю. Просто знаю — так же, как знал, что карета въехала, раньше, чем мне доложили. — Но у неё есть нож. В шнуровке платья, с левой стороны. Она касается этого места, когда думает, что никто не смотрит. Трижды за те минуты, что мы говорили.

Я действительно видел это. Три раза её пальцы скользили к левому боку — быстро, украдкой, проверяя. Жест человека, который везёт с собой единственную надежду и боится её потерять.

Что я не говорю Ворону — так это того, что видел бы это, даже закрыв глаза. Что знаю, где у неё спрятан нож, так же твёрдо, как знаю, где у меня своё сердце. Что эта проклятая струна под рёбрами тянется прямо туда, к левому боку её платья, будто там, под золотым шитьём и сталью, спрятано что-то моё.

— Оставить ей нож? — спрашивает Ворон. — Или изъять?

Я думаю об этом дольше, чем следовало бы.

— Оставить, — говорю я наконец. — Пусть думает, что у неё есть тайна. Человек с тайной предсказуем. А я хочу знать, когда она решится.

Ворон кивает и уходит отдавать распоряжения. Я остаюсь один на галерее, над двором, где ещё стоит чёрная карета и вороные роняют пену, и смотрю на окна западного крыла, за которыми теперь горит — впервые за двенадцать лет — тёплый, рыжий, живой огонь свечей.

Моя мать любила тёплый свет. После её смерти я велел убрать из крепости все свечи, кроме чёрных. Двенадцать лет Чёрный Шип горит холодным синим пламенем, потому что я не выношу жёлтого — оно слишком похоже на то, каким был замок, когда она была жива.

А теперь в западном крыле горят её свечи. Девчонка, должно быть, велела принести обычных, не зная наших порядков. И я стою и смотрю на этот тёплый отсвет в окне, и во мне поднимается что-то, чему я не нахожу названия, — не ярость, хотя похоже, не боль, хотя рядом.

Тоска. Вот что это. Такая старая, что я успел забыть её имя.

Я отворачиваюсь.

— Потушить свечи в западном крыле, — бросаю я проходящему слуге. — Заменить на чёрные. Немедленно.

Слуга убегает. Через четверть часа тёплый свет в окне гаснет, и западное крыло становится таким же синим и мёртвым, как вся остальная крепость.

Так лучше. Так правильно.

Я говорю себе это всю дорогу до своих покоев. Я говорю себе это, пока снимаю перевязь и смываю с лица дорожную пыль, которой на мне нет, потому что я весь день не выходил за стены. Я говорю себе это, лёжа без сна в темноте, глядя в чёрный потолок.

И всё это время струна под рёбрами тянет меня куда-то на запад, в западное крыло, где за тремя стенами и двумя коридорами лежит без сна девчонка с зелёными глазами, которая поклялась меня убить.

Откуда я знаю, что она не спит?

Я просто знаю.

Я лежу в темноте своей крепости, наследник рода тьмы, человек, которого именем пугают детей по обе стороны границы, и впервые за двенадцать лет не могу совладать с собственным телом. Оно тянется к врагу. Оно хочет встать, пройти два коридора, толкнуть дверь и — что? Я не знаю, что. Это незнание пугает меня больше всего.

Потому что я всегда знаю, чего хочу. Власти. Покоя. Чтобы война наконец сдохла и отпустила меня. Чтобы однажды я перестал видеть во сне лицо матери, синее от яда, с открытыми глазами, в которых осталось удивление — она до последнего не верила, что её убьют за столом переговоров.

Я не хочу хотеть рыжую девчонку. Это не входит ни в один из моих планов.

Под утро я всё-таки засыпаю. И впервые за двенадцать лет мне не снится мать.

Мне снится огонь — тёплый, рыжий, живой, — и во сне я не боюсь его, а иду к нему, протягиваю руки, и он не обжигает.

Я просыпаюсь в холодном поту, с колотящимся сердцем, и первая моя мысль — ясная и страшная, как приговор:

Три дня. У меня есть три дня, чтобы придумать, как не прикасаться к ней на свадьбе. Потому что если я прикоснусь — я уже знаю, всем своим существом знаю, — случится что-то, чего не отменить.

Я ещё не знаю, насколько я прав.

Я зову Ворона с первым светом.

— Ритуал связывания, — говорю я. — Древний обряд, по крови, как требует их род. Что для него нужно?

Ворон хмурится.

— Соединение ладоней над родовым алтарём. Обмен каплей крови. Слова связывания. — Он медлит. — Мой князь, вы же знаете. Вас готовили к этому с детства.

— Знаю. — Я смотрю в окно, на серое море. — Соединение ладоней обязательно?

— Без него нет брака. Корона не признает союз. Вся затея с миром рассыплется. — Ворон глядит на меня внимательно. — Почему вы спрашиваете?

Я не отвечаю.

Потому что ответ — «я боюсь коснуться её ладони» — не тот ответ, который князь Хельгрейв может произнести вслух. Даже перед единственным человеком, которому доверяет.

— Иди, — говорю я. — Готовь обряд.

Ворон уходит. Я остаюсь у окна.

На западе, за двумя коридорами и тремя стенами, просыпается огонь. Я чувствую, как он открывает зелёные глаза в сумраке чужой для неё комнаты. Чувствую так ясно, будто это мои собственные веки дрогнули.

Три дня, говорю я себе.

Струна под рёбрами смеётся надо мной.

Глава 3. Ритуал

Лиара

Три дня в Чёрном Шипе учат меня двум вещам.

Первая: здесь нет тепла. Не в переносном смысле — в прямом. Камень стен холоден даже там, куда должно доставать солнце, только солнце сюда не достаёт, его съедают вечные тучи. Свечи, которые мне принесли в первую ночь, к утру исчезли, заменённые на чёрные, горящие синим, мёртвым пламенем, от которого у меня стынут пальцы, сколько ни протягивай их к огню. Я спросила Тьерру, служанку, почему. Она опустила глаза и сказала: «Князь не выносит жёлтого света, миледи». И больше ни слова, как я ни допытывалась.

Вторая вещь, которой меня учит Чёрный Шип: за мной следят.

Не грубо. Никто не стоит над душой. Но куда бы я ни пошла — в коридор, на галерею, к окну, — в двух шагах позади всегда оказывается тень. Иногда это человек, молчаливый страж с лицом, высеченным из того же камня, что и стены. Иногда — буквально тень, которая держится у пола неправильно, против света, и ползёт за мной, когда я иду. Я зажгла в ладони огонёк и ткнула им в такую тень однажды, в первую ночь. Тень отпрянула, свернулась и утекла под дверь, как живая.

Магия теней. Его магия. Он следит за мной даже тогда, когда не утруждает себя человеческими глазами.

Я трогаю нож в шнуровке — в сотый раз за эти дни — и говорю себе, что это ничего не меняет. Пусть следит. Однажды он подойдёт достаточно близко. Мужьям положено подходить близко. И тогда у меня будет одно мгновение, и я не промахнусь. Ордрин учил меня бить снизу вверх, под ребро, коротко, чтобы не застряло. Я помню. Я повторяю это каждую ночь, как молитву.

Я не думаю о том, что было во дворе.

Я очень старательно не думаю об этом — о том, как меня дёрнуло к нему, едва я вышла из кареты. Как я нашла его взглядом сразу, через весь двор, будто кто-то повернул мою голову за подбородок. Как в груди натянулось что-то, когда он подошёл, — тонко, горячо, против всякой воли, — и как мне пришлось вцепиться в собственную ненависть обеими руками, чтобы устоять.

Это их тьма, говорю я себе. Хельгрейвы — страх и морок. Он давит на меня своей магией, не нарочно, просто по крови. Это не я. Я ненавижу его. Я поклялась его убить.

Я повторяю это все три дня. К утру свадьбы я почти верю.

Почти.

Меня одевают в чёрное.

Это первое оскорбление дня, и оно продуманное. У нас, Аль-Ривенов, невесты идут к алтарю в белом с золотом — цвета рассвета, цвета рода. Хельгрейвы прислали мне чёрное платье. Чёрный шёлк, чёрное кружево, ни единой золотой нити. Они одевают меня в свои цвета ещё до того, как я стану их. Говорят без слов: здесь ты никто. Здесь ты наша.

Тьерра затягивает шнуровку у меня на спине и шепчет, едва слышно:

— Простите, миледи. Так велел князь.

— Не извиняйся за него. — Я смотрю на себя в чёрное зеркало — здесь даже зеркала чёрные, из полированного обсидиана, и отражение в них выходит тёмным, будто смотришь на себя из-под воды. — Пусть одевает меня хоть в саван. Это ничего не меняет.

Нож я перекладываю сама. Из белого платья — в чёрное, в ту же шнуровку, с левого боку. Тьерра видит. Я замираю, ожидая крика, стражи, обыска.

Но девчонка только смотрит на нож, потом на меня. И молчит. И затягивает шнуровку так, чтобы его не было видно.

— Почему, — спрашиваю я тихо.

— Моя мать была из Аль-Ривенов, — так же тихо отвечает Тьерра, не поднимая глаз. — Её отдали сюда, как вас. Она прожила в этом замке девятнадцать лет и умерла, не увидев солнца. — Служанка затягивает последний узел. — Я не люблю этот род, миледи. Я просто здесь родилась.

Я смотрю на неё по-новому. Первое живое лицо за три дня.

— Как тебя зовут по-настоящему? — спрашиваю я. — Не как они тебя кличут. По матери.

Что-то вздрагивает в её глазах.

— Тьерра и есть по матери, — говорит она. — Это они выговаривают неправильно.

— Тьерра, — повторяю я, стараясь попасть в тот мягкий звук, который она произнесла. — Я запомню.

И впервые за три дня кто-то в этом замке смотрит на меня без страха и без расчёта. Просто смотрит. Я цепляюсь за это, как за выступ над пропастью.

Ритуальный зал — в подземелье.

Конечно, в подземелье. Куда ещё вести к алтарю в роду тьмы. Меня ведут вниз по витой лестнице, всё глубже, мимо факелов с синим пламенем, и воздух становится всё холоднее и плотнее, и наконец открывается зал — круглый, без окон, с низким сводом, под которым теряется эхо. В центре — алтарь чёрного камня, старый, в тёмных потёках, о которых я стараюсь не думать. Вокруг — несколько человек. Князь Хельгрейв, отец, — я узнаю его по тому, как Кассиан на него не смотрит. Старик-жрец в тёмном. Ворон, капитан, тот самый, что стоял за плечом жениха во дворе. И свидетели со стороны Короны — двое в серо-стальном, с бесстрастными лицами людей, которые приехали проверить, что сделка состоялась.

И он.

Кассиан стоит у алтаря в чёрном — но ему чёрное к лицу, он в нём родился, не то что я. Высокий, бледный, тёмные волосы, холодные глаза. Красивый той красотой, которой пугаются, — так красив обрыв, так красив блеск клинка. Я смотрю на него и жду, что внутри поднимется ненависть, чистая и простая, за которую так удобно держаться.

А вместо ненависти поднимается та самая струна. Натягивается от груди куда-то к нему, через весь зал, горячая и тугая.

Я стискиваю зубы. Морок. Это морок.

Он смотрит на меня так же — и я вижу, по тому, как дёргается мышца на его челюсти, что ему тоже что-то мешает. Что он тоже борется. Это почему-то успокаивает меня: если это его магия, то она бьёт и по нему, а значит, это оружие, которое можно обернуть.

— Приступим, — говорит князь Хельгрейв. — Корона ждёт исхода к вечеру.

Жрец начинает. Слова древние, на языке, которого я почти не знаю, — на том, что был общим для родов до того, как они разделились на свет и тьму. Я улавливаю обрывки. «Кровь к крови». «Накал к накалу». «Что соединено у камня, не разнимет и смерть».

Красиво. Для тех, кто не стоит сейчас в чёрном платье с ножом под шнуровкой.

— Протяните руки над алтарём, — говорит жрец.

Вот оно.

Я поднимаю правую руку. Он — свою. Между нашими ладонями — пядь холодного воздуха и чёрный камень алтаря внизу. Жрец берёт ритуальный нож — тонкий, кривой — и проводит по подушечке большого пальца сначала ему, потом мне. Я почти не чувствую боли. Капля крови набухает на пальце, тёмная в синем свете.

— Соедините ладони, — говорит жрец, — и произнесите слова связывания. С этого мгновения вы — одно перед кровью, перед родом и перед Короной.

Кассиан медлит.

Одно мгновение — крошечное, которое, думаю, замечаю только я, — он медлит. Будто перед ним не рука невесты, а раскалённое железо. Будто он знает что-то, чего не знаю я.

Потом его ладонь опускается на мою.

И мир раскалывается.

Я не могу описать это иначе. В то мгновение, когда наши окровавленные ладони соприкасаются, что-то рвётся — не в зале, во мне, в той самой струне под рёбрами, которую натягивало три дня. Она лопается, и в прорыв хлещет — он. Его накал, его тьма, но не чужая, не враждебная, а узнающая, будто две реки, которые текли порознь тысячу лет, вдруг нашли общее русло.

Огонь вспыхивает во мне сам, без моей воли. Я чувствую, как он взвивается от ладоней к плечам, и одновременно — невозможно, невероятно — чувствую его тьму, как она поднимается ему навстречу. Наши стихии должны гасить друг друга. Свет и тьма, огонь и тень — они противоположны, они уничтожают друг друга при встрече, этому учат с детства, это закон крови.

Они не гасят.

Они сплетаются.

Огонь и тьма закручиваются над алтарём единым столбом — чёрное пламя с золотыми искрами, живое, ревущее, рвущееся к низкому своду, — и это так красиво и так страшно, что кто-то из свидетелей вскрикивает. Я чувствую мощь, которая льётся сквозь меня, — не мою, не его, нашу, удесятерённую, бесконечную. Я могла бы сейчас спалить этот замок до основания. Мы могли бы. Одним желанием.

И сквозь эту мощь, сквозь грохот крови в ушах, я чувствую его — всего, целиком, изнутри. Его изумление. Его ужас. И под ними, глубоко, там, где он прячет всё, — его тоску, такую огромную и старую, что у меня перехватывает дыхание. Я вижу — на одно вспыхнувшее мгновение — синее лицо мёртвой женщины с открытыми глазами. Его мать. Я чувствую его горе как своё, оно обрушивается на меня, и я не успеваю защититься, и из моих глаз текут слёзы, которых я не звала.

Он отдёргивает руку.

Чёрное пламя опадает разом, будто его и не было. Зал погружается в синий полумрак. Я стою, шатаясь, мокрая от пота, со слезами на щеках, и смотрю на свою ладонь — на ней, там, где была капля его крови, темнеет тонкая вязь, проступившая под кожей, как татуировка, которой никто не наносил. Я поднимаю глаза. На его ладони — такая же. Зеркальная.

В зале — мёртвая тишина.

Первым её нарушает жрец. Старик смотрит на наши ладони, на оседающие в воздухе последние искры чёрного пламени, и лицо его из бесстрастного становится серым.

— Этого не может быть, — шепчет он. — За всю жизнь я не видел… За всю историю рода было трижды…

— Что, — говорит князь Хельгрейв. Его голос режет тишину. — Что это было, жрец. Говори.

Старик опускается на колено — не перед князем, перед нами, и от этого у меня по спине бежит мороз.

— Кровные истинные, — произносит он. — Мой князь, они — кровные истинные. Связь не загасила их стихии. Она их соединила. Это… это бывает раз в поколения. Двое, чья магия усиливает друг друга. Вместе они… — он сглатывает, — вместе они сильнее, чем любой маг, рождавшийся в обоих родах за триста лет.

Я смотрю на Кассиана. Он смотрит на свою ладонь, на проступившую вязь, и лицо у него такое, будто ему вынесли смертный приговор. Белее мела. И я понимаю — через ту связь, которая теперь не рвётся, только притихла, тлеет под рёбрами, — я понимаю, что он чувствует. Не триумф. Не радость от небывалой силы.

Отвращение. Чистое, глухое отвращение к самому себе.

Потому что сила, которой он теперь владеет, — это я. Дочь рода, который убил его мать. И отныне мы связаны так, что не разнимет и смерть. Он слышал слова жреца так же, как я.

— Разорвать, — говорит Кассиан. Голос у него сел. — Как это разорвать.

Жрец поднимает на него глаза.

— Никак, мой князь.

— Должен быть способ.

— Способ есть. — Старик медлит. — Если истинные расходятся, их накал гаснет. Медленно. Сначала слабость, потом боль, потом… угасание. Оба умирают. Порознь. Долго. — Он снова смотрит на наши зеркальные ладони. — Вас нельзя развести, мой князь. Вас можно только убить вместе.

Я жду, что Кассиан скажет — тогда убейте. Я вижу, как это слово поднимается в нём. Я чувствую его.

Но раньше, чем он успевает, подаёт голос один из свидетелей Короны. Тот, что повыше, в сером. Он всё это время молчал, а теперь делает шаг вперёд, и на его бесстрастном лице проступает что-то новое. Что-то алчное.

— Нет, — говорит он мягко. — Их нельзя убивать. — Он смотрит на нас — на меня, на Кассиана, на столб, где только что ревело чёрное пламя, — и улыбается тонко, как человек, который только что понял, что нашёл сокровище там, где искал камень. — Их величество будет чрезвычайно… заинтересован. Союз двух Высоких родов, скреплённый парой, которой не было триста лет. — Он склоняет голову. — Поздравляю, лорд и леди Хельгрейв. Вы только что стали слишком ценны, чтобы жить порознь. И слишком опасны, чтобы жить свободно.

Он поворачивается к своему спутнику:

— Готовь птицу ко двору. Их величество должен узнать сегодня же. — И, уже тише, но я слышу, потому что теперь, кажется, слышу слишком много: — И пусть пришлют наблюдателя. Постоянного. За такой силой нужен глаз.

Кассиан смотрит на меня через алтарь. Впервые с тех пор, как опало пламя, — прямо мне в глаза. И через связь, которая тлеет между нами и которую ни он, ни я не звали, я слышу его так же ясно, как если бы он сказал вслух:

«Что они с нами сделали».

А под этим, глубже, там, где он думает, что я не достану, — то, от чего у меня останавливается сердце:

«И почему, во имя Тьмы, когда ты коснулась меня, я впервые за двенадцать лет почувствовал, что не один».

Он отворачивается первым. Резко. Захлопывает связь, как дверь, — я всем телом чувствую этот хлопок, глухой удар в груди.

Но я уже услышала.

И теперь я стою у чёрного алтаря, в чёрном платье, с ножом под шнуровкой, которым поклялась убить этого человека, и с его кровью, впечатанной в мою ладонь навсегда, — и впервые за три дня, за три года, за всю мою просчитанную, разменянную жизнь я не знаю, что мне делать.

Потому что убить его теперь — значит убить себя.

И потому что одно короткое, страшное мгновение, когда наши ладони соединились, я тоже — впервые — почувствовала, что не одна.

Я ненавижу его. Я ненавижу эту связь. Я ненавижу деда, Корону, жреца, весь этот холодный замок.

Но сильнее всего в эту минуту я ненавижу то, что чёрное пламя было красивым.

И что какая-то часть меня — та, что всю жизнь мёрзла в сияющем, лживом свете Солнечного Предела, — хочет почувствовать это снова.

Глава 4. Под одной крышей

Кассиан

Первую ночь женатым я провожу, сидя на полу собственной спальни, спиной к стене, и считаю удары чужого сердца.

Её сердца.

Я чувствую его. Через две стены и коридор, через весь западный клин крепости — я чувствую, как бьётся сердце женщины, которую мне дали в жёны сегодня днём. Быстро. Слишком быстро для человека, который спит. Значит, она тоже не спит. Значит, она тоже сидит где-то там, в темноте, и чувствует меня, как я чувствую её, и ненавидит это так же, как я.

Эта мысль — единственное утешение за весь день. Жалкое утешение. Я цепляюсь за него.

Жрец сказал — усиливается не только магия. Эмоции. Ощущения. Близость одного чувствует второй. Он сказал это буднично, как говорят о свойствах яда, а я стоял и понимал, что это значит на деле: у меня больше нет стен. Двенадцать лет я строил их камень за камнем — холод, расчёт, тишину, в которой можно держать мёртвое лицо матери так, чтобы оно не всплывало при свете дня. Двенадцать лет я был крепостью внутри крепости.

И одним прикосновением окровавленной ладони эта рыжая девчонка пробила в моей стене дыру, через которую теперь сквозит.

Я чувствую её страх. Не острый — тлеющий, ровный, как угли под золой. Она боится, но держит это при себе, как держала огонь во дворе, как держит нож под шнуровкой. Я чувствую её усталость. Я чувствую — и вот это невыносимо — тонкую, почти незаметную нить тепла, которая тянется от неё ко мне помимо её воли, так же как от меня к ней, и которую мы оба давим изо всех сил и не можем задавить до конца.

Я встаю. Сажусь. Снова встаю.

Тело не слушается. Оно хочет на запад. Оно весь день хотело на запад — на свадебном пиру, который отец устроил на показ свидетелям Короны, я сидел рядом с ней за одним столом, в ладони ширины друг от друга, и каждая жилка во мне тянулась сократить эту ладонь, коснуться, проверить — повторится ли то, что было у алтаря. Я просидел весь пир, вцепившись в ножку кубка так, что к концу свело пальцы. Она сидела так же прямо, так же белая под своими веснушками, и мы не сказали друг другу ни слова, и это было единственное, в чём мы оба преуспели за сегодня.

А теперь ночь, и стен между нами всего две, и я считаю её сердце.

Хватит.

Я иду к двери. Я говорю себе — я иду проверить стражу. Убедиться, что приказ исполнен, что её крыло под охраной, что она не сбежит и не всадит кому-нибудь нож в горло в первую же ночь. Это обязанность. Это расчёт. Это не имеет никакого отношения к тому, что струна под рёбрами поёт от облегчения на каждом шаге, который приближает меня к ней.

Я лгу себе всю дорогу через два коридора. Я уже говорил — у меня хорошая школа.

Её дверь не заперта снаружи. Я не велел запирать — человек под замком знает, что он пленник, и ведёт себя как пленник, а человек, думающий, что волен уйти, выдаёт себя попыткой. Страж у двери при виде меня вытягивается и открывает рот, но я поднимаю два пальца, и он проглатывает доклад.

Я стою перед дверью дольше, чем стоял бы перед вражеским войском.

Потом толкаю её.

Лиара не спит. Она сидит в кресле у холодного камина — в том же чёрном платье, она даже не переоделась ко сну, будто ждала чего-то или не хотела быть застигнутой врасплох, — и когда дверь открывается, она уже на ногах, и в руке у неё тот самый нож. Я вижу его впервые. Маленький, простой, остро заточенный. Она держит его правильно — лезвием вдоль

предплечья, не выставив вперёд, как держат те, кто играет в опасность, а прижав, как держат те, кого учили убивать.

— Вы, — говорит она. Не опускает нож.

— Я.

— Пришли довершить начатое? — Она чуть сдвигается, ставя между нами кресло. Расчётливо. Выгадывает себе мгновение на бросок огня. Я отмечаю это с чем-то, похожим на одобрение. — Или в роду тьмы принято навещать жён с охраной за дверью?

— Я пришёл посмотреть, не сбежали ли вы.

— Как видите, нет. — Она не убирает нож. — К моему глубочайшему сожалению.

Мы стоим друг напротив друга в холодной комнате, освещённой синим пламенем чёрных свечей, которые я же велел сюда поставить, и между нами — кресло, нож, три поколения мёртвых и связь, которой не разнимет смерть. И струна под рёбрами натянута так, что я слышу её звон.

И тут я понимаю, что совершил ошибку, придя сюда.

Потому что вблизи — хуже. Вблизи связь не тлеет, она разгорается. Я чувствую её всю — не только страх и усталость, которые долетали через стены, а всё целиком: как частит её пульс, как ей холодно в этом проклятом замке, как она устала бояться и злиться и не позволяет себе перестать. И под этим — то же, что было у алтаря. Тонкая, предательская тяга ко мне, которую она ненавидит ровно так же, как я ненавижу свою.

Мы — две половины одной ловушки. И обе рвёмся из неё в разные стороны, а ловушка от этого только затягивается.

— Опустите нож, — говорю я. — Если бы я хотел вас убить, вы были бы уже мертвы. И потом — вы слышали жреца. Моя смерть теперь — ваша смерть. Так что при всём желании я не могу позволить вам всадить в меня эту игрушку.

— Может, оно того стоит. — Но что-то в её лице меняется. Она тоже слышала жреца. Она тоже всю ночь считала это. — Сдохнуть вместе с вами. Небольшая цена за то, чтобы избавить мир от рода Хельгрейв.

— Громкие слова для женщины, которая три дня проверяет, на месте ли её нож, вместо того чтобы пустить его в ход.

Я вижу, как это попадает. Как вспыхивают зелёные глаза.

— Откуда…

— Я знал про нож ещё во дворе. — Я делаю шаг в комнату. Один. Струна поёт. — В шнуровке, с левого боку. Вы касаетесь этого места, когда думаете, что никто не смотрит. Я смотрел.

Она молчит. Потом, очень медленно, опускает нож — не убирает, держит у бедра, но опускает. И говорит тихо, и от этой тишины мне становится холоднее, чем от всего синего пламени замка:

— Значит, вы оставили мне его нарочно.

— Да.

— Чтобы я чувствовала, что у меня есть тайна. Чтобы я расслабилась и выдала себя. — Она усмехается, и усмешка у неё горькая, не по годам. — А я-то думала, в роду тьмы все звери. А вы просто расчётливый ублюдок. Это даже хуже. Со зверем хоть понятно, чего ждать.

— Мы с вами похожи больше, чем вам хотелось бы, леди Хельгрейв.

— Не называйте меня так.

— Это ваше имя. С сегодняшнего дня.

— Это имя рода, который я поклялась извести. — Она делает шаг ко мне, и это она, она сокращает расстояние, и струна под рёбрами захлёбывается. — Я дала клятву, Хельгрейв. При свидетелях. Перед тем как ваша чёрная карета увезла меня из дома. Я поклялась, что кто-то в этом замке проснётся с ножом в горле. Я думала — вы. Теперь выходит, что если вы — то и я.

— Она поднимает на меня зелёные глаза, и в них стоят слёзы ярости, которые она не позволяет себе пролить. — Вы украли у меня даже мою месть. Даже умереть по-своему я теперь не могу без вашего позволения.

И вот здесь связь делает то, чего я не ждал.

Её ярость — настоящая, чистая, выжигающая — перехлёстывает через край и бьёт в меня. Я чувствую её как свою. Я чувствую, каково это — быть разменной монетой, вещью, которую отдают, чтобы откупиться; чувствую её деда, старика с весами вместо глаз; чувствую, как она три дня глотала это и держала спину прямо, потому что показать слабость значит проиграть. Я чувствую её всю — и это не морок, не обольщение солнечной крови, как я уверял себя три дня.

Это человек. Живой, яростный, загнанный в тот же капкан, что и я, с той только разницей, что я хотя бы в своём замке, а она — в клетке врага.

И это знание — что она человек, а не просто лицо рода-убийцы, на которое так удобно вешать всю мою ненависть, — оно невыносимо. Оно рушит то, на чём я стоял двенадцать лет.

Я отступаю на шаг. Она чувствует это — мой отход, не телесный, внутренний, — и глаза у неё расширяются.

— Что это было, — шепчет она. — Сейчас. Я почувствовала…

— Ничего.

— Я почувствовала вас. — Её голос дрожит — не от страха, от чего-то хуже. — Я почувствовала, как вы… Я не хочу этого. Слышите? Я не хочу чувствовать вас. Уберите это. Закройте. Вы же умеете — я видела, у алтаря вы захлопнули это, как дверь, научите меня, я…

— Нельзя научить. — Я отступаю ещё. — Можно только держать. Всё время. Не отпуская ни на миг. Двенадцать лет практики. — Я усмехаюсь, и усмешка выходит страшнее, чем я хотел. — Добро пожаловать в мою жизнь, леди Хельгрейв. Теперь вы знаете, каково это — быть крепостью, которую нельзя оставить без охраны ни на одну ночь.

Я поворачиваюсь к двери.

И тогда это случается.

Я делаю три шага прочь — к порогу, к коридору, к спасительным двум стенам между нами, — и с каждым шагом струна под рёбрами натягивается всё туже, из поющей становится ноющей, из ноющей — рвущей. На третьем шаге боль прошивает меня насквозь, от грудины к позвоночнику, такая внезапная и чистая, что я хватаюсь за косяк. За спиной я слышу — она тоже вскрикивает. Коротко, сдавленно, зажав рот.

Угасание. Жрец говорил — порознь накал гаснет. Я думал, это медленно. Дни, недели. Я не думал, что три шага.

Я оборачиваюсь. Лиара стоит, согнувшись, одной рукой упираясь в кресло, другой прижав к груди — к тому самому месту под рёбрами, где у меня поёт струна. Лицо белое, на лбу испарина. Она поднимает на меня глаза, и в них — ужас, настоящий, голый, без всякой гордости.

— Что происходит, — выдавливает она.

Я возвращаюсь. Один шаг, два — и боль отступает, струна слабеет, дыхание возвращается к нам обоим разом. Я вижу, как краска приливает к её лицу, как разгибается её спина. Как будто кто-то плеснул воды на угли, которые уже начали гаснуть.

Мы смотрим друг на друга через кресло, оба тяжело дыша, и понимаем одно и то же в одну и ту же секунду.

Мы не можем разойтись. Буквально. Физически. Два коридора я ещё мог выдержать — днём, на пиру, была ширина ладони, ночью, через стены, — видимо, какое-то расстояние связь терпит, пока свежа. Но стоит одному по-настоящему пойти прочь — и оба сгибаемся от боли. Свежая связь держит нас на коротком поводке, и поводок этот — наши собственные тела.

— Нет, — говорит Лиара. Она выпрямляется, пошатываясь, и в голосе у неё поднимается истерическая, звенящая нота. — Нет. Я не буду. Я не стану жить, привязанная к вам, как собака к колу. Лучше сдохнуть. — И она делает это — назло мне, назло связи, назло всему — она разворачивается и идёт прочь, к дальней стене комнаты, так быстро, как может.

Четыре шага. Пять.

Я вижу, как её ведёт. Как подгибаются колени. Как она хватается за стену, обдирая ладонь о холодный камень, и всё равно делает ещё шаг, и ещё, — упрямая, бешеная, готовая умереть, лишь бы не признать поводок.

И я чувствую её боль как свою, она удваивается во мне, рвёт пополам, — и я понимаю, что она не остановится. Что она правда скорее умрёт у дальней стены этой комнаты, чем вернётся ко мне по своей воле. Что гордость в ней сильнее инстинкта жить.

Я узнаю это. Я слишком хорошо это узнаю.

— Лиара. — Я не помню, когда в последний раз называл кого-то по имени так — не как титул, не как оружие. — Лиара, остановитесь.

— Идите к Тьме, — хрипит она, делая ещё шаг. Её уже почти не держат ноги.

И тогда я делаю единственное, что могу. Я иду за ней.

Я пересекаю комнату — боль отступает с каждым шагом к ней, подтверждая всё, что мы оба уже поняли, — и успеваю поймать её в то мгновение, когда ноги наконец отказывают. Она падает мне на руки, лёгкая, горячая — живой огонь, настоящий, не метафора, у неё кожа горячее, чем у любого человека, — и в тот миг, когда я касаюсь её, струна под рёбрами разом смолкает. Боль уходит. Остаётся только это — тепло её тела у меня в руках и бешеный, частый стук двух сердец, которые теперь, я слышу, бьются в один ритм.

Она поднимает голову. Наши лица в ладони друг от друга. Я чувствую её дыхание на своих губах. Её зелёные глаза совсем близко, и в них — ярость, и ужас, и, под ними, глубоко, то же самое, что воет сейчас во мне: невозможная, ненавистная, непрошеная тяга.

— Я вас ненавижу, — шепчет она.

— Знаю, — говорю я. — Я вас тоже. Это ничего не меняет.

Мы стоим так дольше, чем нужно. Дольше, чем можно. Я держу в руках врага, дочь рода, убившего мою мать, и впервые за двенадцать лет мне тепло, и я ненавижу себя за это тепло так сильно, что темнеет в глазах, — и всё равно не разжимаю рук, потому что знаю: стоит разжать, и нас снова прошьёт болью.

Вот она, ловушка. Во всей красе.

Мы связаны так, что не можем отойти друг от друга, и связаны так, что не можем быть рядом. Каждый шаг прочь — боль. Каждый миг близости — предательство. Нам предстоит прожить так всю жизнь, которую не разнимет смерть.

— И как, — выговаривает она наконец, не двигаясь, потому что двинуться значит снова упасть, — как, во имя всех богов света и тьмы, вы предлагаете с этим жить, Хельгрейв?

Я смотрю в её запрокинутое лицо, в горящие зелёные глаза, так близко, что мог бы пересчитать веснушки.

— Понятия не имею, — честно говорю я.

И за стеной, в коридоре, где нас не видно, но где, я знаю, всё слышно, — за стеной стоит человек Короны, которого прислали наблюдать, и записывает каждое наше слово, чтобы отправить ко двору.

Но этого я ещё не знаю.

Пока я знаю только одно: у меня на руках — огонь, и я не хочу его отпускать.

И это пугает меня больше, чем всё, что случилось со дня смерти матери.

Глава 5. Цена оружия

Лиара

Я просыпаюсь оттого, что мне тепло.

Это первое, что доходит до меня сквозь сон, — не холод камня, не синий свет, а тепло вдоль всей спины, ровное, живое, как будто я уснула у очага. Я не помню, когда в последний раз спала в тепле. В Солнечном Пределе, при всём его показном сиянии, всегда тянуло сквозняком от зеркал.

Потом я понимаю, откуда тепло.

Он лежит за моей спиной. Поверх покрывала, не касаясь меня руками, в одной ладони от меня, — но связь не различает покрывала и ладоней, связь считает, что мы достаточно близко, и потому молчит, не рвёт, не жжёт. Кассиан Хельгрейв спит в моей постели, спиной к моей спине, враг, которого я поклялась убить, и я проснулась от его тепла, и мне было хорошо.

Я не двигаюсь.

Я лежу неподвижно и восстанавливаю в памяти ночь — как я упала ему на руки у дальней стены, как он держал меня, как мы не могли разойтись. Как в конце концов, не сказав почти ни слова, мы пришли к единственному решению, которое оставляла нам связь: он останется. На ночь. Не иначе. Чтобы не сгибаться от боли при каждом шаге в разные стороны. Он лёг поверх покрывала, в одежде, с краю, так далеко от меня, как позволял проклятый поводок, и я — тоже в платье, с ножом, зажатым в кулаке под подушкой, — лежала и ждала, что не усну.

И уснула. Мгновенно. Как не спала три дня.

Потому что рядом с ним связь молчит, и впервые с отъезда из дома мне не нужно было держать оборону всем телом.

Я ненавижу это. Я ненавижу, что моё тело предаёт меня, что оно спало сладко у бока врага, что сейчас оно не хочет отодвигаться от его тепла. Я заставляю себя вспомнить синее лицо, которое увидела у алтаря, — его мёртвую мать. Мою вину по крови. Три поколения резни.

Не помогает. Тепло вдоль спины сильнее трёх поколений.

Я осторожно высвобождаю руку с ножом из-под подушки. Поворачиваю голову.

Он не спит.

Кассиан лежит с открытыми глазами, глядя в потолок, и по тому, как ровно он дышит, я понимаю — не спит давно. Может, вообще не спал. Сторожил. Меня, себя, нож — не знаю.

— Доброе утро, жена, — говорит он, не поворачивая головы. Голос ровный, холодный, будто и не было ночи, когда он назвал меня по имени и держал на руках. — Нож можете убрать. Если бы вы собирались, вы бы уже попробовали. У вас была вся ночь.

— Может, я ждала, пока вы уснёте.

— Я не спал.

— Я заметила. — Я сажусь, отодвигаясь к изголовью, и связь тут же недовольно натягивается — не больно, но ощутимо, как собака, дёрнувшая поводок. Я замираю на том расстоянии, где она терпит. — Это теперь так будет? Каждую ночь?

Он садится тоже. Проводит рукой по лицу — единственный усталый жест, который он себе позволяет.

— Пока связь свежа — да. Жрец сказал, со временем мы сможем расходиться дальше. Привыкнем. Как привыкают носить кандалы — цепь не укорачивается, но перестаёшь чувствовать её вес. — Он смотрит на меня, и в утреннем синем свете его глаза кажутся почти человеческими. — Радуйтесь. Через месяц-другой сможете ненавидеть меня на расстоянии целого коридора.

— Заманчиво. — Я встаю, отходя ровно настолько, насколько позволяет поводок, и начинаю приводить себя в порядок — чтобы занять руки, чтобы не смотреть на него, спутанного со сна, в моей постели. — А как вы объясните двору, что князь Хельгрейв ночует в покоях жены, как влюблённый мальчишка? Я думала, в роду тьмы брак — это сделка, а не…

— Двору уже доложили. — Он встаёт, оправляя одежду. И что-то в его голосе заставляет меня обернуться. — Не про постель. Про связь. Человек Короны отправил птицу ко двору вчера же, из ритуального зала. К полудню об этом будет знать король. К концу недели — оба наших рода в полном составе и половина соседних держав. — Он смотрит на меня тяжело. — Мы с вами больше не политический брак, леди. Мы — событие. Кровные истинные, которых не было триста лет, в руках двух сильнейших родов державы. Знаете, что это значит?

— Просветите.

— Это значит, что со вчерашнего дня все, кто имеет власть, задают себе один и тот же вопрос. — Он подходит к окну, к серому морю за ним. — Как нас использовать. И как не дать использовать нас кому-то другому.

Я молчу. Потому что это я понимаю слишком хорошо. Я выросла среди людей, которые смотрят на других и видят вес на весах. Мой дед таким взглядом смотрел на меня всю жизнь.

— И ваш отец, — говорю я медленно, — уже решил, как использовать нас. Да? Поэтому вы здесь с таким лицом.

Что-то мелькает в связи — короткая вспышка, которую он тут же давит. Но я успеваю поймать. Я учусь. Всю ночь, лёжа без сна, я училась читать эту струну между нами, и теперь я ловлю его быстрее, чем он успевает закрыться.

— Нас зовут к нему, — говорит Кассиан. — Через час. Обоих. — Он отворачивается от окна. — Оденьтесь во что-нибудь, в чём не стыдно стоять перед князем Хельгрейв. И, Лиара. — Он произносит имя снова, и снова оно звучит иначе, чем всё остальное. — Что бы он ни сказал. Молчите. Я прошу вас один раз. Молчите, и дайте мне говорить.

— С чего бы мне вас слушать?

Он смотрит на меня, и в его глазах — не угроза. Предупреждение. Почти… забота, которую он сам презирает.

— С того, — говорит он, — что мой отец страшнее меня. А вы всё ещё думаете, что страшнее меня в этом замке нет никого. Это ваша первая ошибка здесь. Не делайте вторую.

Тронный зал Хельгрейвов — это зал, построенный, чтобы внушать. Высокий свод теряется во мраке, куда не достаёт синее пламя. Чёрные колонны уходят вверх, как стволы мёртвого леса. В дальнем конце, на возвышении, — трон из чёрного камня, и на нём сидит человек, рядом с которым Кассиан, я теперь вижу, ещё почти тёплый.

Князь Хельгрейв стар, но не так, как мой дед. Дед носит возраст как корону. Князь носит его как оружие — всё лишнее сточено, осталась голая, холодная суть. Те же тёмные глаза, что у сына, только в сыне на дне их я вчера разглядела тоску, а здесь нет ничего. Выжженная земля.

— Подойдите, — говорит он.

Мы подходим. Я чувствую, как Кассиан рядом подбирается весь, как струна во мне натягивается от его напряжения, — и впервые это напряжение не против меня, а заодно со мной, против человека на троне. Странное, непривычное чувство. Союзник. У меня никогда не было союзника.

— Итак, — говорит князь, разглядывая меня так, как разглядывают лошадь на торгу. — Дочь Аль-Ривенов оказалась дороже, чем думали даже они. Кровная истинная. — Он переводит взгляд на сына. — Ты понимаешь, что это меняет всё?

— Понимаю, отец.

— Нет. — Князь встаёт. — Не понимаешь. Ты думаешь про эту связь как про цепь на своей шее. Я думаю про неё как про меч в своей руке. В этом разница между тобой и мной, Кассиан, и в этом причина, по которой на троне пока ещё я. — Он спускается с возвышения,

медленно, и обходит меня кругом, и я заставляю себя стоять прямо и молчать, как велел Кассиан, хотя огонь поднимается к ладоням сам. — Триста лет назад последняя кровная пара сожгла армию в десять тысяч клинков. Одна. За один день. Об этом есть записи. — Он останавливается передо мной. — А у меня теперь такая пара под собственной крышей. Связанная браком. Повязанная Короной. И одна её половина — покорная дочь рода, который спит и видит, как бы примириться.

Я молчу. Чего мне стоит это молчание — знает только струна под рёбрами, через которую Кассиан, я чувствую, ловит мою ярость и — странно — будто пытается её принять на себя, разделить, остудить.

— Я скажу, как будет, — говорит князь Хельгрейв. — Вы двое научитесь владеть этой силой. Вместе. Жрец и наши маги покажут вам как. Вы будете тренироваться каждый день, пока не научитесь жечь по команде. А потом, — он улыбается, и улыбка эта хуже, чем всё лицо моего деда, — потом мы напомним Короне и всем соседям, чей это меч. На наших условиях кончится не только война с Аль-Ривенами. На наших условиях кончится всё.

— А если мы откажемся, — говорю я.

Я нарушаю слово, данное Кассиану. Я чувствую, как он застывает рядом. Но я не могу молчать — молчать значит согласиться быть мечом, а я уже была монетой, и больше не буду ничьей вещью, ни светлой, ни тёмной.

Князь Хельгрейв поворачивается ко мне медленно, будто только сейчас заметил, что лошадь на торгу умеет говорить.

— Она разговаривает, — замечает он сыну. — Ты позволяешь жене разговаривать с собой так?

— Я задала вопрос, — говорю я, прежде чем Кассиан успевает ответить. — Что, если мы откажемся быть вашим оружием. Вы не можете нас развести — мы умрём оба, медленно, и ваш драгоценный меч сломается в руке прежде, чем вы занесёте его. Вы не можете нас заставить жечь по команде, если мы не захотим. Так что же вы сделаете, князь? Будете пытать одного на глазах у другого? — Я чувствую связь, чувствую, как от этих слов в Кассиане поднимается что-то тёмное и опасное, направленное на отца. — Учтите: что чувствует один, чувствует и второй. Пытая меня, вы будете пытать своего наследника. А сломав меня — сломаете его. Мы теперь неделимы. Вы сами это сказали. Меч о двух лезвиях режет и руку, что его держит.

В зале очень тихо.

Князь Хельгрейв смотрит на меня долго. А потом делает то же, что сделал мой дед в день, когда я поклялась убить мужа. Он улыбается — почти с удовольствием.

— А она умнее, чем ты, — говорит он Кассиану. — Жаль, что из вражьего гнезда. — Он возвращается к трону. — Хорошо, девочка. Ты права. Силой кровную пару не гнут — это известно, последнюю пробовали гнуть, и она сожгла тех, кто пробовал. Поэтому гнуть вас я не стану. — Он садится. — Я поступлю иначе. Я дам вам время. Привыкнуть друг к другу, к связи. Притереться. А когда вы притрётесь настолько, что потеря другого станет для каждого из вас невыносимой, — вот тогда мне не нужно будет вас заставлять. Тогда достаточно будет пригрозить одному, чтобы второй сделал что угодно. — Он складывает сухие руки. — Вы сами выкуете цепь, за которую я вас поведу. Любовь — крепче железа. Я подожду.

И я понимаю — с холодом, который расходится от груди по всему телу, — что это и есть настоящая ловушка. Не связь. Связь — только капкан. А вот это, сказанное стариком на чёрном троне, — это охотник, который знает, что капкан сработал, и теперь просто ждёт, пока зверь обессилеет.

Он хочет, чтобы мы полюбили друг друга.

Потому что влюблённую пару гнуть легче всего.

Я смотрю на Кассиана. И впервые вижу на его лице не холод и не расчёт, а то же понимание, что растекается сейчас по мне. Он тоже услышал. Он тоже понял. Его отец только что

объявил нам обоим войну — страшнее, чем вражда родов, страшнее, чем Корона. Войну, в которой наше оружие против старика — не любить друг друга. Остаться врагами. Сохранить между собой ненависть во что бы то ни стало, потому что ненависть — единственное, за что князь Хельгрейв не сможет нас потянуть.

И связь под рёбрами, та самая, что сегодня утром грела мне спину, выбирает именно этот миг, чтобы предательски, тонко, вопреки всему заныть от тяги к человеку, стоящему рядом.

— Мы вас поняли, отец, — говорит Кассиан. Голос ровный. Но через связь я слышу, что под ровностью — ярость такой силы, что будь здесь меньше свидетелей, чёрное пламя взвилось бы само. — Это всё?

— Это всё. — Князь делает жест, отпускающий нас. — Да, ещё одно. Ко двору уже выехал королевский наблюдатель. Постоянный. Будет жить в Чёрном Шипе и доносить королю о каждом вашем шаге. — Он смотрит на нас без всякого выражения. — Так что советую вам обоим научиться притворяться счастливыми. Король не любит, когда его сокровища выглядят несчастными. Это наводит на мысли о бунте.

Мы выходим из тронного зала молча. Идём по чёрному коридору рядом, на той единственной дистанции, которую терпит связь, и не говорим ни слова, пока за поворотом не исчезают последние уши.

Тогда Кассиан останавливается. Прижимается спиной к холодной стене, закрывает глаза. И я чувствую через связь, как его отпускает — медленно, толчками, та ярость, которую он держал весь разговор.

— Вы нарушили слово, — говорит он, не открывая глаз. — Я просил вас молчать.

— Я не умею молчать, когда меня продают. Второй раз за неделю. — Я встаю к стене рядом. — Он прав ведь? Ваш отец. Про цепь, которую мы выкуем сами.

Кассиан открывает глаза. Смотрит на меня.

— Да, — говорит он. — Он прав. Он почти всегда прав, в этом его ужас. — Он помолчал. — Поэтому слушайте меня, Лиара Аль-Ривен. Раз уж мы теперь связаны и раз уж у нас появился общий враг, который хочет, чтобы мы друг друга полюбили, — давайте заключим договор. Настоящий. Только между нами.

— Какой договор.

— Мы не дадим ему того, чего он ждёт. — Кассиан протягивает руку — не для того, чтобы коснуться, просто раскрытой ладонью вверх, той самой, где темнеет зеркальная вязь. — Мы останемся врагами. Что бы ни делала связь. Как бы ни тянуло. Мы будем помнить, кто вы и кто я, и чья кровь на чьих руках. Мы не полюбим друг друга — и тем самым вырвем у моего отца и у Короны единственный рычаг, которым нас можно гнуть. — Он смотрит мне в глаза. — Ненависть — наша свобода. Единственная, что у нас осталась. Согласны?

Я смотрю на его раскрытую ладонь. На вязь, что зеркалит мою. На человека, чьё тепло грело мне спину этой ночью и чью тоску я почувствовала как свою у алтаря.

И я говорю себе — это легко. Я ведь и правда его ненавижу. Я ведь поклялась его убить. Нет ничего проще, чем остаться врагами с врагом.

— Согласна, — говорю я и вкладываю свою ладонь в его — вязь к вязи, на один короткий удар сердца, скрепляя договор.

И в это самое мгновение, от прикосновения, связь вспыхивает теплом, нежным и предательским, разливается по нам обоим, — и я вижу по его лицу, и чувствую через струну, что он ощутил то же.

Мы заключаем договор не любить друг друга.

И скрепляем его прикосновением, от которого у обоих перехватывает дыхание.

Князь Хельгрейв, думаю я, глядя на наши сомкнутые ладони, может не торопиться.

Цепь уже куётся. И первое её звено мы только что выковали сами.

Глава 6. Вкус огня

Кассиан

Нас учат убивать вместе уже восьмой день.

Двор для упражнений — глубоко в недрах Чёрного Шипа, в старой каменной чаше, где когда-то, при деде моего деда, держали зверей для травли. Стены здесь в три человеческих роста, оплавленные в незапамятные времена чьей-то магией до стеклянной гладкости. Хорошее место, чтобы жечь, не спалив крепость. Отец выбрал его сам.

Напротив нас — соломенные чучела в человеческий рост, расставленные жрецом и боевыми магами рода. Мишени. Рядом — сам жрец, старый Колум, и трое магов отца, которые должны научить нас тому, чего никто из них никогда не видел и не делал. Триста лет никто в державе не владел тем, чем теперь владеем мы с Лиарой. Они учат нас по записям. По преданиям. По догадкам.

И всё равно у нас получается лучше, чем должно.

— Снова, — говорит Колум. — Вместе. На счёт.

Лиара стоит рядом со мной — на той дистанции, которую связь уже позволяет держать без боли, шаг, может, полтора; за восемь дней поводок чуть удлинился, как и обещал жрец. Она в простом тёмном платье для упражнений, рыжие волосы стянуты в тугой узел, на скулах — пятна румянца от усилия. Мы не разговариваем больше, чем нужно. Договор держится. Восемь дней мы — безупречные враги: холодны на людях, молчаливы наедине, спим спина к спине под одним покрывалом, потому что иначе не уснуть, и утром расходимся, будто ночи не было.

Так мы решили. Так правильно. Я повторяю это каждое утро, как прежде повторял имя матери.

— На счёт, — повторяет Колум. — Раз.

Я тянусь к своему накалу. Тьма откликается — она всегда рядом, холодная, послушная, моя с рождения. Тени у стен приподнимаются.

— Два.

Лиара тянется к своему. Я чувствую это через связь — как в ней поднимается огонь, горячий, злой, живой, так непохожий на мою тьму. Восемь дней назад это чувство было мне отвратительно. Сейчас я просто отмечаю его, как отмечаю смену ветра.

Лгу. Опять лгу. Оно не отвратительно. Оно — как глоток горячего вина в стылый день. И это хуже отвращения.

— Три. Вместе.

И мы отпускаем.

Поодиночке моя тьма ударила бы по чучелу тараном холода и страха. Поодиночке её огонь просто сжёг бы солому. Но мы не поодиночке. В то мгновение, когда наши накалы встречаются — в воздухе, на полпути к мишеням, — происходит то, чего не умеет ни один маг державы. Тьма не гасит огонь. Огонь не глушит тьму. Они сплетаются, как сплелись у алтаря, — и то, что срывается с наших рук, уже не тень и не пламя, а третье, чему нет названия на нашем языке: чёрный огонь с золотой сердцевиной, живой, ревущий, жадный.

Он не просто сжигает чучело. Он стирает его. Солома, дерево каркаса, железные скрепы — всё расходится в воздух облаком чёрной золы, беззвучно, в один удар сердца. А следом — потому что мы не рассчитали, мы никогда не можем рассчитать, силы слишком много, — чёрное пламя бьёт в оплавленную стену за мишенью и выжигает в трёхсотлетнем стекле воронку глубиной в локоть.

Жар отдачи прокатывается по нам обоим. И вместе с жаром — то, ради чего, я теперь понимаю, отец и затеял эти упражнения. Не сила. Ощущение силы.

Потому что когда наши накалы сплетаются, сплетаемся и мы. На те несколько мгновений, пока держится чёрное пламя, между нами нет ни стен, ни договора, ни трёх поколений мёртвых. Есть только одно расплавленное, оглушительное «мы» — я чувствую её огонь как продолжение своих рук, она чувствует мою тьму как продолжение своей воли, и вдвоём мы безграничны. Это самое полное, самое пьянящее, что я испытывал за двенадцать лет. И самое опасное.

Потому что когда пламя опадает и «мы» снова распадается на «я» и «она», остаётся пустота. Холод. Тоска по тому, чем мы только что были.

Отец умён. Он не заставляет нас полюбить друг друга словами или угрозами. Он просто даёт нам каждый день по глотку этого — этого слияния, этого «мы», — зная, что рано или поздно мы не сможем без него жить. Вот его цепь. Вот как он нас кует.

Я смотрю на Лиару. Она тяжело дышит, глядя на выжженную воронку в стене, и на лице у неё — то же, что, я знаю, на моём. Ужас пополам с голодом.

— Великолепно, — выдыхает Колум. Старик смотрит на нас, как смотрят на чудо или на конец света. — Мой князь, миледи, это… за гранью записей. Последняя пара на восьмой день едва зажигала свечу совместно. А вы…

— А мы прожгли стену, которую не брала магия триста лет, — говорю я ровно. — Да. Я заметил.

— Хватит на сегодня, — раздаётся голос сверху.

Отец. Он стоит на кромке каменной чаши, на галерее для зрителей, и смотрит вниз. Рядом с ним — человек, которого я вижу впервые. Высокий, в сером с серебром, с цепью королевского посланника на груди и лицом, не выражающим ровно ничего. Так выглядят только две породы людей: мёртвые и те, кто научился притворяться мёртвыми, чтобы выжить при дворе.

Наблюдатель. Приехал.

— Поднимитесь, — говорит отец. — Оба. Его светлость желает познакомиться с королевскими сокровищами.

Я чувствую, как Лиара рядом каменеет. Через связь — вспышка её ненависти к слову «сокровища», такая родная, что я почти улыбаюсь. Почти.

— Держитесь, — говорю я ей тихо, пока мы идём к лестнице. — Это глаза короля. Всё, что вы скажете и сделаете, к концу недели ляжет на стол его величества. Будьте той, кем он хочет вас видеть.

— И кем же он хочет меня видеть?

— Прирученным огнём. Опасным ровно настолько, чтобы быть ценным, и покорным ровно настолько, чтобы быть безопасным. — Мы поднимаемся. — Сыграйте это. Ради нас обоих.

— Я не умею играть покорность, Хельгрейв. У меня это плохо выходит с детства. Спросите моего деда.

— Тогда сыграйте хотя бы холод. Холод у вас выходит превосходно. Я испытал на себе.

Я чувствую через связь, как это её задевает — не зло, а как-то иначе, и она косится на меня, будто не ожидала, что я умею шутить. Я и сам не ожидал. Это она. Рядом с ней из меня выходит что-то, чего я в себе не знал. Не знаю, нравится ли мне это. Знаю, что отучиться уже не смогу.

Наверху нас ждёт серый человек.

— Лорд Кассиан. Леди Лиара. — Он кланяется — ровно настолько, насколько кланяются тем, кто ниже короля, но выше посланника. — Меня зовут Ферран. Я буду иметь честь гостить в Чёрном Шипе от имени его величества. — Бесцветные глаза скользят по нам, по выжженной воронке внизу, по оседающей чёрной золе. — Его величество наслышан о вашем… даре. Теперь я вижу, что молва преуменьшала. Это было прекрасно.

— Это было упражнение, — говорю я.

— Это было оружие на учениях, лорд Кассиан. — Ферран улыбается тонко. — Не будем называть вещи чужими именами, мы ведь взрослые люди. Его величество счастлив, что столь редкий дар родился под рукой верного рода Хельгрейв. — Пауза, выверенная до волоса. — Верного ведь, не правда ли?

— Род Хельгрейв служит Короне три сотни лет, — произносит отец ровно.

— Разумеется. — Ферран поворачивается к Лиаре, и его взгляд меняется — становится внимательнее, цепче. — А вы, миледи. Дочь Аль-Ривенов. Ваш род тоже славится верностью. И всё же — любопытное положение, не находите? Одна половина сокровища его величества родом из света, другая из тьмы. Два рода, которые режут друг друга три поколения. — Он чуть склоняет голову. — Скажите, леди Лиара, — кому теперь принадлежит ваша преданность? Роду, в котором вы родились? Или роду, которому вас отдали?

Вот оно. Первый выпад. Он прощупывает трещину — ту самую, по которой нас можно расколоть: её двойную кровь, её разорванную лояльность. Я чувствую, как в Лиаре вскипает ответ, резкий, гордый, — и чувствую, как она его глотает. Умница. Учится.

Она поднимает на Феррана зелёные глаза и говорит — спокойно, с той холодностью, которой я же её только что похвалил:

— Моя преданность, ваша светлость, там же, где и моя жизнь. А моя жизнь теперь связана с жизнью моего мужа так, что нас не разнять, не убив обоих. — Она делает крошечную паузу. — Так что если вы спрашиваете, не предам ли я Корону ради прежнего рода, — подумайте сами. Предать мужа значит убить себя. Я похожа на женщину, которой надоело жить?

Ферран смотрит на неё долго. Потом — я вижу это, я чувствую облегчение отца через всё ещё дрожащий в воздухе накал — он улыбается, и на этот раз улыбка почти настоящая.

— Нет, миледи, — говорит он. — Вы похожи на женщину, которая очень хочет жить. Это лучший залог верности из всех, что знает двор. Его величество будет доволен. — Он кланяется снова. — Я вижу, что мои опасения были напрасны. Вы — именно то сокровище, о каком мечтает корона: ценное и привязанное. В прямом смысле.

Он уходит с отцом — обсуждать, я полагаю, в каких словах доложить королю, что оружие надёжно заперто в ножнах. А мы с Лиарой остаёмся на галерее, над выжженной чашей, и молчим, пока их шаги не стихают.

— Вы хорошо сыграли, — говорю я наконец. — Лучше, чем обещали.

— Я не играла. — Она смотрит на свои ладони — на вязь, на следы золы. — Я сказала правду. Предать вас теперь и правда значит убить себя. — Она поднимает на меня глаза, и в них нет холода, который она показывала Феррану. В них усталость. — Вот что самое мерзкое, Хельгрейв. Он прощупывал, можно ли меня перекупить, стравить с вами. А мне даже не пришлось врать, чтобы он отступился. Связь уже сделала меня верной вам. Без всякой любви. Просто потому, что я хочу жить.

Я молчу.

Потому что она назвала вслух то, о чём я думаю восьмой день. Отец строит свою цепь из любви. Но связь уже выковала цепь попроще — из самого простого человеческого желания не умирать. Мы верны друг другу не потому, что хотим. А потому, что иначе — смерть. И эта верность по принуждению почему-то горше, чем была бы вражда.

— Идёмте, — говорю я. — На сегодня хватит и упражнений, и дворцовых игр.

Мы спускаемся с галереи рядом. И на последней ступени — я не знаю, случайно или нет, я никогда теперь не знаю, что случайно, а что связь, — её плечо на миг касается моего.

И обоих нас прошивает тем самым. Теплом. Отголоском чёрного пламени. Тенью того оглушительного «мы», которым мы были внизу, у мишеней.

Мы оба замираем на полшага. Оба чувствуем. Оба молчим.

Потом расходимся — на ту дистанцию, что терпит поводок, — и идём дальше, глядя прямо перед собой, безупречные враги, связанные договором не любить друг друга.

А высоко над нами, на галерее, откуда только что ушёл отец, остаётся стоять серый человек Короны. Я замечаю его только теперь. Он не ушёл с отцом — вернулся. Или не уходил. Стоит в тени колонны и смотрит нам вслед — на то, как мы замерли от случайного касания, как расходимся, как старательно не смотрим друг на друга.

И на бесцветном лице королевского наблюдателя проступает что-то, от чего у меня по спине ползёт холод.

Понимание.

Он видел касание. Он видел, как нас обоих тряхнуло. И он — человек, которого прислали искать не нашу силу, а нашу слабость, — только что нашёл её.

Не вражду между нами ищет Корона. Вражда Корону устроила бы.

Корона ищет то, чем можно нас разнять.

И серый человек на галерее только что понял, что разнять нас можно одним-единственным способом: заставить одного из нас слишком сильно полюбить другого. Потому что тот, кто любит, — уязвим. Тем, кто любит, можно управлять через того, кого он любит. А если понадобится — через его смерть.

Он смотрит нам вслед и улыбается — тонко, удовлетворённо, как человек, нашедший на дне сундука то, что искал.

Я этого не вижу. Я уже свернул за колонну, думая только о тепле её плеча на моём.

Но я почувствую последствия. Очень скоро.

Глава 7. Быт врагов

Лиара

Оказывается, в брак с врагом входит множество мелочей, о которых не предупреждают ни менестрели, ни жрецы.

Например — никто не говорит тебе, что враг храпит. Тихо, едва слышно, только на вдохе, и только когда по-настоящему измотан. Я узнаю это на двенадцатую ночь, лёжа спиной к его спине под общим покрывалом, и ловлю себя на том, что прислушиваюсь к этому звуку, как к дождю, — и злюсь на себя до зубовного скрежета.

Никто не говорит тебе, что враг пьёт вино, не чувствуя вкуса, залпом, как воду, — потому что двенадцать лет назад кто-то отравил его мать за столом, и с тех пор он не умеет наслаждаться тем, что в кубке. Я замечаю это на обеде и ловлю себя на том, что мне — на одно позорное мгновение — его жаль.

Никто не говорит тебе, что враг читает. Много. Запоем. Что в его покоях, куда меня переселили на четвёртый день — «князь и княгиня живут в общих покоях, так заведено», процедил распорядитель, пряча глаза, — стены до потолка в книгах, и половина из них не о войне и не о власти, а о дальних краях, о море, о звёздах, о землях за краем наших карт. Враг, оказывается, мечтал уплыть. Когда-то. До того, как стал чудовищем.

Я узнаю своего мужа по мелочам, которые он не прячет, потому что не считает их важными. И каждая такая мелочь — трещина в том образе, который мне так удобно ненавидеть.

Я не хочу его узнавать. Мы договорились. Враги.

Но связь не спрашивает, чего я хочу. Связь течёт между нами днём и ночью, и через неё просачивается он — не словами, ощущениями: как он устал от вечной игры перед Ферраном, как ему тошно от отцовских планов, как он, оказывается, мёрзнет в собственном замке не меньше моего, просто научился не замечать. Я знаю его теперь изнутри больше, чем знала кого-либо снаружи. И это знание — против воли — делает невозможным простую, чистую ненависть, за которую я цеплялась всю дорогу сюда.

Поэтому я делаю единственное, что умею. Я нападаю.

— Вы опять не спали, — говорю я за завтраком на тринадцатое утро.

Мы завтракаем вдвоём — так велел Ферран, вернее, так он «посоветовал», что при дворе одно и то же. Королевский наблюдатель желает видеть счастливую пару, и мы изображаем счастливую пару дважды в день, за общим столом, под его бесцветным взглядом с дальнего конца. Сейчас Феррана нет — рано, он ещё не спустился, — и мы можем не играть. Можем быть собой. То есть драться.

— Я спал достаточно, — отвечает Кассиан, не поднимая глаз от бумаг, которые читает за едой, — ещё одна мелочь, которую я теперь знаю.

— Вы спали два часа. Я чувствовала. — Я отпиваю из чаши. — Через эту вашу проклятую струну. Вы ворочались всю ночь, а под утро встали и ушли читать к окну, думая, что я сплю.

Он поднимает на меня глаза. В них — то особое раздражение, которое, я уже выучила, означает, что я попала в цель.

— Вы следите за мной во сне, леди?

— Я не слежу. Я не могу не чувствовать. Это разные вещи, и вторая гораздо хуже. — Я отламываю хлеб. — Поверьте, если бы я могла выбирать, за кем следить, я выбрала бы не человека, который вздыхает над книгой про море в три часа ночи, как брошенная девица.

Я вижу, как это попадает. Как он застывает на миг — потому что про море я знать не должна, про море он мне не говорил, про море я узнала, подсмотрев через связь его тоску, когда он думал, что я сплю. Я переступила черту. Я влезла в то, что он прячет.

Я жду вспышки. Холода. Отповеди.

Вместо этого он закрывает книгу — медленно — и смотрит на меня так, будто видит впервые.

— Вы чувствуете даже это, — говорит он тихо. — Не только злость или страх. Но и… — он не находит слова, — и остальное.

— К несчастью.

— Что ещё вы чувствуете. — Это не вопрос любопытства. Это вопрос человека, который двенадцать лет не пускал никого внутрь и вдруг обнаружил, что внутри кто-то уже есть. — Говорите. Я имею право знать, что вы видите.

Я могла бы соврать. Стоило бы соврать. Но связь работает в обе стороны, и он почувствует ложь, как я чувствую его бессонницу.

— Я чувствую, что вам холодно, — говорю я. — Всё время. Не телу. Глубже. Я думала сначала — это замок. А потом поняла, что замок вы сделали холодным нарочно. Синее пламя, чёрные свечи, ни одного тёплого окна. Вы живёте внутри собственного траура двенадцать лет и называете это домом. — Я смотрю ему в глаза. — Я чувствую, что вы тоскуете по тому, каким всё было до. И что вы ненавидите себя за эту тоску, потому что считаете, что не имеете на неё права. Что чудовище не должно хотеть тепла.

В столовой очень тихо. Где-то за стенами бьётся о скалы море.

Кассиан смотрит на меня, и впервые за тринадцать дней я вижу его без единой стены — потому что я только что описала ему его самого точнее, чем он смеет делать это сам, и защищаться уже поздно.

— А я, — говорит он наконец, очень ровно, слишком ровно, — чувствую, что вы всю жизнь ждали, что кто-нибудь спросит, чего хотите вы. И что никто не спросил. Ни отец, ни дед, ни род. Вас учили быть полезной, потом — быть разменной, но вас никто ни разу не спросил, кем вы хотели бы быть, если бы вас не продавали. — Он чуть подаётся вперёд. — Я чувствую, что под всей вашей яростью — не ненависть ко мне. А страх, что и здесь, в этом браке, вы снова окажетесь только вещью. Чьим-то оружием, чьей-то монетой. И что вы деретесь со мной не потому, что я враг, а потому, что драка — единственное, в чём вы хоть сколько-то свободны.

Я не дышу.

Потому что это правда. Такая голая, такая точная правда, что у меня перехватывает горло. Он влез в меня так же, как я в него, — и достал со дна то, в чём я не признавалась даже себе.

Мы сидим по разные стороны стола, враги, связанные договором ненависти, и только что раздели друг друга догола — не телом, хуже, — и оба понимаем, что отступать больше некуда. Что связь не оставила нам ни одного тёмного угла, где можно спрятаться друг от друга. Что мы будем жить вот так — видя друг друга насквозь — до самой смерти, которая не разнимет.

— Это нечестно, — говорю я хрипло. — То, что мы делаем. Что мы можем делать. Никто не должен знать другого так.

— Нет, — соглашается он. — Не должен.

— Я не хочу знать вас так.

— Знаю. — Тень улыбки, горькой. — Я вас тоже. Мы это уже выяснили. Это ничего не меняет.

Его любимая фраза. «Это ничего не меняет». Он произносит её всякий раз, когда что-то меняется.

Я встаю. Мне нужно отойти — не могу, поводок, — я просто отворачиваюсь к окну, к серому морю, чтобы не видеть его лица, на котором написано слишком много правды.

— Расскажите мне про море, — говорю я, не оборачиваясь. — Раз уж вы всё равно знаете про меня всё. Хоть что-то должно быть честным обменом. Почему море. Почему книги про дальние земли.

Долгая тишина за спиной. Я уже думаю, что он не ответит.

Потом слышу — он встаёт. Подходит. Останавливается рядом у окна, на той дистанции, что терпит связь, и тоже смотрит на серую воду.

— Мне было шестнадцать, — говорит он. — До того, как мать поехала на те переговоры, мы с ней собирались уплыть. Весной. Она давно хотела показать мне южные острова — она сама была оттуда, не из Хельгрейвов, отец взял её из далёкого приморского рода, за это его осуждали, тёмный князь и жена не из знати. Но она привезла в этот замок единственное тепло, которое в нём было. Жёлтые свечи. Яблоневый цвет в саду — он теперь зарос, я велел не трогать. И обещание моря. — Он молчит. — Весной мы должны были уплыть. А зимой её позвали на переговоры о мире с Аль-Ривенами. Твой род. И она поехала — потому что верила, что мир возможен, что хватит уже крови. Она была единственной в этом замке, кто верил в мир. — Его голос не меняется, ровный, и от этой ровности мне страшнее, чем от любого крика. — Её привезли назад через девять дней. В закрытом гробу. Мне не дали открыть. Сказали — яд обезобразил лицо, не нужно мне это видеть. Я открыл ночью, один. — Пауза. — Напрасно открыл. Теперь это лицо — последнее, что я вижу перед сном уже двенадцать лет. Синее. С открытыми глазами. В них — удивление. Она до последнего не верила, что её убьют за столом мира.

Я стою рядом и чувствую через связь — не слова, саму рану, живую, незатянувшуюся, кровоточащую все двенадцать лет. И вместе с ней чувствую то, от чего у меня холодеет всё внутри.

Он не врёт. Он правда верит, что это сделал мой род. Мой дед, мой отец, мои дядья — кто-то из Аль-Ривенов влил яд в вино его матери на переговорах о мире.

И я — впервые — задаю себе вопрос, который не задавала никогда, потому что меня растили на версии моего рода: «Хельгрейвы сами всё подстроили, чтобы иметь повод для войны».

А что, если нет?

Что, если яд был наш?

Я смотрю на серое море, на человека рядом, на его незатянувшуюся рану, которую теперь чувствую как свою, — и впервые в жизни сомневаюсь в том, что мне говорили дома. И это сомнение страшнее связи, страшнее поводка, страшнее всего.

Потому что если его мать убили мы — то моя ненависть к нему не стоит ничего. А его ненависть ко мне — справедлива.

— Кассиан, — говорю я. Впервые по имени. Оно выходит непривычным, мягким. — А если это были не мы?

Он поворачивает голову. Смотрит на меня.

— Что?

— Если переговоры, яд — если это был не мой род. Если кто-то хотел, чтобы вы поверили, будто это мы. Чтобы война не кончилась. — Я сама не знаю, откуда беру эти слова, но, выговаривая их, чувствую, как что-то становится на место, как ключ в замок. — Кому была выгодна смерть единственной женщины в двух родах, которая верила в мир? Не нам. Не вам. А тому, кто живёт этой войной. Кто кормится ею. Кто…

— Хватит. — Он говорит это резко, и связь захлопывается с той самой глухой силой, которую я уже знаю. — Не смейте. Не смейте выгораживать свой род передо мной, оправдывать его этими… этими придворными играми. Я видел гроб. Я видел её лицо. Это сделали Аль-Ривены. Это единственное, что держит меня в своём уме все эти годы, — я знаю, кого ненавидеть. Не отнимайте у меня хотя бы это.

Он отходит — на весь поводок, до боли, до того предела, где связь начинает рвать нас обоих, — лишь бы оказаться от меня дальше. Я вижу, как его ведёт, как он хватается за подоконник, и всё равно стоит там, на пределе, задыхаясь, лишь бы не быть рядом со мной сейчас.

И я понимаю, что нащупала самое больное. Не рану — то, чем он рану заткнул. Его ненависть к моему роду — это не чувство. Это опора. Единственное, что держит его стены.

Отними её — и всё рухнет, и останется только мальчик шестнадцати лет над открытым гробом, которому некого винить, а значит, не на что опереться.

Я подхожу к нему — медленно, чтобы унять боль поводка, — и делаю то, чего не делала ни разу по своей воле. Я кладу ладонь ему на плечо. Вязь к ткани. И связь, обрадованная близостью, разом гасит боль в нас обоих и разливается теплом.

Он вздрагивает под моей рукой. Не отстраняется.

— Я не выгораживаю род, — говорю я тихо. — Я свой род знаю. Я видела, как мой дед улыбнулся, когда я поклялась кого-нибудь здесь убить. Он на такое способен. Они все на такое способны. — Я сглатываю. — Но именно поэтому, Кассиан, я и спрашиваю. Потому что если мой дед способен отравить вашу мать — он способен и подставить так, чтобы всю вину свалить на весь род, а самому остаться чистым. Я не выгораживаю Аль-Ривенов. Я говорю, что, может быть, вы ненавидите не тех. Или не только тех.

Он молчит очень долго. Под моей ладонью его плечо твёрдое, как камень, и дрожит едва заметно.

— Если вы правы, — говорит он наконец, глухо, не глядя на меня, — если вы правы, Лиара, то я двенадцать лет точил нож не на того. Двенадцать лет моя ненависть грела не тот очаг. И тогда я не знаю, кто я без неё. — Он поворачивает голову, и в его глазах — то, чего я не видела ни разу: не холод, не расчёт, а голый, детский страх. — Не трогайте это. Прошу вас. Я не готов узнать, что всё было зря.

И я убираю руку. И отступаю. И мы больше не говорим об этом в тот день.

Но зерно уже брошено. В нём — и во мне. Теперь мы оба будем думать об этом ночами, спина к спине, под общим покрывалом, прислушиваясь к дыханию друг друга и к одному и тому же вопросу, который уже не заглушить:

А что, если яд был не их? И не наш?

А что, если нас стравили — и стравливают до сих пор?

Я засыпаю в ту ночь не сразу. И, засыпая, чувствую через связь, что он тоже лежит с открытыми глазами в темноте, и думает о том же, и боится того же.

Впервые мы боимся одного и того же.

Это пугает меня больше, чем когда мы были врагами.

Глава 8. Первое касание

Кассиан

Покушаются на нас на восемнадцатый день, и я не сразу понимаю, что покушаются именно на нас, — потому что сначала я думаю, что покушаются на неё.

Мы в саду. Том самом — заросшем яблоневом саду за восточной стеной, где когда-то цвели деревья, привезённые матерью с юга, и где я не был двенадцать лет. Это Лиара вытащила меня сюда. «Вы же не выходите за стены, — сказала она утром, — вы живёте в могиле и не видите неба. Пойдёмте. Хоть раз. Мне нужно солнце, а вам нужно перестать быть трупом». Она сказала это грубо, по-своему, чтобы не прозвучало как забота. Но я почувствовал через связь, что под грубостью — забота. И пошёл. Я теперь хожу за ней, будто так и надо. Договор ненависти трещит по швам восемнадцать дней, и мы оба делаем вид, что не слышим треска.

Сад одичал. Яблони вымахали, переплелись, но каким-то чудом ещё цветут — поздним, бедным цветом, и запах этот — яблоневый цвет — тот самый, что я почувствовал от неё в первый день, в её волосах. Я стою под деревьями, которые сажала мать, рядом с женщиной рода, который её убил, и дышу запахом, который двенадцать лет старался забыть, и мне — невыносимо и хорошо одновременно.

Лиара запрокидывает голову к редкому солнцу, пробившемуся сквозь вечные тучи, и впервые с приезда я вижу её лицо расслабленным. Веснушки. Рыжие пряди выбились из узла. Она почти улыбается.

И поэтому я чувствую опасность на миг позже, чем должен бы.

Связь предупреждает меня раньше, чем глаза, — это странное, чужое напряжение, укол тревоги, который не мой и не её. Я оборачиваюсь. На стене сада, там, где плющ гуще всего, — движение. Арбалет. Двое. Нет, трое. Болты уже на тетивах, и целятся они не в меня.

Целятся в неё.

Я всё понимаю в одно растянутое мгновение. Кто-то хочет убить Лиару. Не меня — князя убивать бессмысленно, свидетелей слишком много, и смерть наследника Хельгрейв означает войну. А вот смерть жены, дочери Аль-Ривенов, в саду Чёрного Шипа — это можно подать как угодно. Несчастный случай. Или — изящнее — как доказательство, что Хельгрейвы всё-таки убили заложницу, и тогда война разгорается заново, и кто-то снова получает свою кормушку.

Убить её. Разорвать связь единственным способом, который не оставляет улик, — убив одну половину. А я, вторая половина, умру следом, медленно, от угасания, и это даже удобно: два сокровища Короны исчезают, и ни одна рука не запачкана прямо.

Всё это проносится во мне за то время, пока палец на тетиве выбирает слабину.

— Лиара! — Я не договариваю. Я двигаюсь.

И тут происходит то, чего не ждёт ни один из троих на стене. Ни, честно говоря, я сам.

Я не успеваю к ней телом — слишком далеко, три шага, поводок как раз растянут на всю длину. Но связь — связь не меряет шагами. В то мгновение, когда болты срываются с тетив, я тянусь к своему накалу и к её одновременно — впервые не по команде жреца, не на счёт, а сам, инстинктом, как хватаются за руку падающего, — и Лиара, обернувшаяся на мой крик, уже тянется навстречу. Мы смыкаемся не ладонями. Накалами. Через всю ширину поводка, через воздух, через яблоневый цвет.

Тьма и огонь сплетаются перед ней стеной.

Чёрное пламя встаёт между Лиарой и летящими болтами — живое, ревущее, выгнутое щитом, — и три арбалетных болта влетают в него и перестают существовать. Не падают. Не отскакивают. Испаряются чёрной золой, не долетев до её кожи на ширину ладони.

А потом щит, которого мы не учились ставить, который родился сам из нашего общего ужаса, — складывается в копьё и бьёт в стену.

Я не хотел убивать. Я хотел защитить. Но сила, которую мы с ней высвобождаем вдвоём, не знает полумер — отец был прав, нас надо учить сдерживать её, а не раздувать. Чёрное пламя обрушивается на участок стены, где засели трое, и стена вскипает. Камень течёт, как воск. Плющ вспыхивает весь разом. Двоих стрелков я вижу ещё мгновение — чёрные силуэты в золотом огне, — а потом не вижу никого. Третий успевает спрыгнуть внутрь, в сад, и катится по земле, сбивая пламя с одежды.

Связь гаснет так же резко, как вспыхнула. Нас обоих шатает от отдачи — слишком много накала выплеснули разом. Но я ещё держусь на ногах, а значит, успеваю к оставшемуся стрелку раньше стражи.

Я беру его тьмой. Не пламенем — просто тенью, обвивая, прижимая к земле, выдавливая воздух. Это я умею один, без неё, это моё с рождения.

— Кто, — говорю я. Тень сжимается на горле стрелка. — Кто послал. Говори, и я убью быстро. Молчи, и будешь умирать до рассвета.

Стрелок хрипит. Глаза выкачены. Он обожжён, напуган до потери рассудка, и всё же я вижу в нём то, что видел у многих, кого допрашивал: он боится не меня. Он боится того, кто его послал, — больше, чем меня, а меня он боится до мокрых штанов. Значит, пославший страшен настолько, что мне с ним тягаться.

— Не… знаю… имени, — хрипит стрелок. — Платили… через третьи руки… серебром Короны… но приказ… приказ был не ваш, не князя… — Он захлёбывается. — Приказ был… убрать рыжую… обставить как Хельгрейвы… чтоб война… чтоб снова война…

— Кому нужна война, — я сжимаю тень сильнее. — Кому.

— Тому… — стрелок выкатывает глаза, — тому, кому она всегда была нужна… тому, кто… — И тут он дёргается, захлёбывается уже не словами, а кровью, и обмякает.

Я ослабляю тень. На его шее нет моих следов — я не ломал. Он умер сам. Вернее, его убили заранее: я вижу теперь тонкую чёрную линию на его губах. Яд. Зашитый, должно быть, в зуб или под язык, из тех, что раскусывают, когда допрос заходит слишком далеко. Кто-то не хотел, чтобы стрелок договорил.

Яд.

Снова яд.

Я стою над мёртвым телом, и во мне всё холодеет. Яд — почерк. Тот же почерк, что убил мою мать. Не грубая сталь, не открытая война, а яд, тень, чужие руки, обставленное так, чтобы вина пала на нужную голову. Двенадцать лет назад вину свалили на Аль-Ривенов. Сегодня хотели свалить на Хельгрейвов. Один и тот же почерк. Один и тот же замысел: чтобы война не кончалась.

Лиара была права.

Эта мысль обрушивается на меня тяжелее, чем отдача от чёрного пламени. Лиара была права вчера, в столовой. Нас стравливают. Кто-то третий, кому выгодна вечная резня двух родов, двенадцать лет назад убил мою мать и свалил на её род, а сегодня попытался убить её саму и свалить на мой. Один почерк. Одна рука.

И я двенадцать лет точил нож не на того.

— Кассиан.

Её голос. Я оборачиваюсь.

Лиара стоит там, где я её оставил, под яблонями, и её шатает. Отдача ударила по ней сильнее — у неё меньше опыта держать выброс, да и накала она вложила больше, защищаясь. Лицо белое, губы бескровные, она держится за ветку, и ветка гнётся.

Я иду к ней. Быстро. Связь радостно гасит остатки боли с каждым шагом. Я успеваю поймать её — второй раз за восемнадцать дней я ловлю её падающей, — и на этот раз, когда мои руки смыкаются вокруг неё, происходит не то, что в первую ночь.

В первую ночь было тепло. Сейчас — больше.

Сейчас, когда я прижимаю её к себе — измотанную, дрожащую, живую, спасённую, — связь не просто гасит боль. Она распахивается настежь, обе стороны разом, потому что у обоих не осталось сил держать стены, мы выжгли все силы на тот щит. И через распахнутую связь в меня хлещет она — вся, целиком, без остатка: её ужас, когда она увидела болты; её изумление, когда встала стена огня; и под этим, в самой глубине, то, в чём она не признается даже под пыткой, — облегчение, что это я её спас. Что в мире, где её всю жизнь продавали и предавали, нашёлся наконец кто-то, кто заслонил её собой. Пусть враг. Пусть по принуждению связи. Но заслонил.

А она чувствует меня. Я знаю, что чувствует, — потому что она поднимает голову с моего плеча и смотрит мне в глаза, и в её зелёных глазах стоит то же, что сейчас во мне: понимание, что я больше не могу её ненавидеть. Что рана двенадцати лет только что сдвинулась с места. Что она была права, и мы оба — жертвы одной руки, и, значит, между нами никогда и не было настоящей вражды, была только ложь, которую нам обоим вливали в уши с детства, как яд.

Мы стоим под материнскими яблонями, в опадающем яблоневом цвете, среди дымящихся обломков стены, прижавшись друг к другу, и связь поёт между нами так чисто и так полно, как не пела ещё ни разу. И это уже не боль поводка, не вынужденная близость, не расчёт.

Это первое касание, которое мы оба выбрали.

Я держу её, и мог бы отпустить — отдача прошла, боль не вернётся сразу, — но не отпускаю. И она могла бы отстраниться — но не отстраняется. Мы стоим дольше, чем нужно, дольше, чем можно, дольше, чем позволяет договор, который мы заключили девять дней назад и который сейчас осыпается с нас, как пепел сожжённой стены.

— Вы были правы, — говорю я тихо, ей в рыжие волосы, в запах яблоневого цвета. — Про яд. Про то, что нас стравливают. Тот же почерк, Лиара. Моя мать и ты — одна рука. Я чувствую это. Я двенадцать лет ненавидел не тех.

Она молчит. Потом её пальцы — слабые, дрожащие — сжимаются на моей одежде, не отпуская.

— Значит, — говорит она, и голос у неё срывается, — значит, у нас с вами теперь один враг, Кассиан Хельгрейв. Настоящий. Не придуманный дедами. — Она поднимает лицо. — И значит, наш договор ненавидеть друг друга только что потерял всякий смысл.

Я смотрю в её запрокинутое лицо. Губы в ладони от моих. Связь гудит, требуя, толкая, стирая последние стены. Я чувствую, что стоит мне сейчас склониться на эту ладонь — и всё, чего ждёт мой отец, всё, что ищет серый человек Короны, случится. Я влюблюсь в неё. Я уже почти. Я стану уязвим. Нас можно будет гнуть.

И поэтому я делаю единственное, на что ещё хватает остатков той крепости, которую строил двенадцать лет.

Я разжимаю руки.

Отступаю на шаг. Связь недовольно вздрагивает, но боли ещё нет — близко, но ещё терпит.

— Нет, — говорю я. Голос выходит не таким твёрдым, как хотелось. — Нет, Лиара. Договор не потерял смысла. Он стал важнее. — Я заставляю себя смотреть ей в глаза. — Если у нас один враг — значит, он смотрит на нас прямо сейчас. Через Феррана, через стрелков, через отца, через всех. И он ищет, чем нас разнять. А разнять нас можно только одним способом — тем, которого хочет мой отец. Заставить одного из нас полюбить. Потому что тот, кто любит, — уязвим. Через того, кто любит, можно дотянуться. — Я сглатываю. — Я не дам ему этого рычага. Ни отцу, ни Короне, ни тому, кто за всем стоит. Поэтому я отпускаю тебя сейчас. Не потому что не хочу. А потому что хочу слишком сильно, и именно этого они ждут.

Она смотрит на меня долго. И я чувствую через связь, как в ней борются две вещи: боль отказа — острая, детская, «меня опять отодвинули» — и понимание. Холодное, взрослое, страшное понимание, что я прав.

— Вы невыносимы, — говорит она наконец. — Вы спасаете мне жизнь, рушите стену, которую я возводила вокруг вас восемнадцать дней, а потом отступаете на шаг и читаете мне лекцию о стратегии. — Она отворачивается, вытирая рукавом лицо — не слёзы, она не позволит себе слёз, просто копоть. — Хорошо. Враги. Пусть будет по-вашему. Безопасные, расчётливые, стратегические враги. — Она оборачивается, и в глазах у неё снова огонь, злой, живой, прежний. — Но учтите одно, Кассиан Хельгрейв. Вы только что доказали мне, что лжёте. Всем. Отцу, Феррану, мне. Себе — особенно себе. Потому что человек, который по-настоящему ненавидит, не ставит стену огня между врагом и болтами ценой собственного накала. — Она подходит ближе, вплотную, назло мне, назло поводку. — Вы можете отступать на сколько угодно шагов. Но я теперь знаю, что вы меня не ненавидите. И вы знаете, что я знаю. И жить нам с этим знанием до самой смерти, которая не разнимет. Удачи вам с вашей стратегией, муж мой.

Она разворачивается и идёт к замку — ровно на длину поводка впереди меня, заставляя меня идти следом, как привязанного, и я иду, потому что иначе боль, — и всю дорогу я смотрю в её прямую спину и понимаю, что проиграл.

Не ей. Себе.

Потому что она права. Я больше не могу притворяться, что ненавижу её. И единственная стена, которая у меня осталась, — не ненависть, а страх. Страх того, что случится с нами обоими, если я позволю себе перестать отступать на шаг.

За нами, в разрушенном саду, стража уносит обгорелые тела. А где-то в замке серый человек Короны уже пишет донесение: «Пара проявила небывалую силу при попытке покушения. Защищали друг друга инстинктивно, совместно, без команды. Привязанность развивается стремительно. Рекомендую ускорить подготовку плана».

Я этого донесения не вижу.

Но в ту ночь, лёжа спиной к её спине под общим покрывалом, я впервые ловлю себя на том, что не хочу, чтобы между нами было покрывало.

И засыпаю в ужасе от самого себя.

Глава 9. Галерея мёртвых

Лиара

После покушения Кассиан меняется — и это хуже, чем если бы не менялся.

Он становится осторожнее. Не со мной — вокруг меня. Удваивает стражу, лично проверяет еду, не позволяет мне подходить к окнам, выходящим на внешнюю стену. Он делает всё, что делал бы человек, оберегающий самое дорогое, — и при этом держит между нами стену расчёта, называет меня «леди», отступает на шаг, едва связь потянет нас ближе. Он защищает меня телом и отталкивает словами, и я чувствую через струну, чего ему стоит это раздвоение. Он разрывается. Я тоже.

Мы оба знаем правду с того дня в саду: мы не враги. Враг — кто-то третий, тот, чья рука дважды работала ядом. И мы оба делаем вид, что эта правда ничего не меняет, потому что признать, что меняет, — значит сделать себя уязвимыми. Значит дать отцу Кассиана и Короне то, чего они ждут.

Поэтому я занимаю себя тем, что умею лучше всего, когда вокруг ложь. Я ищу правду.

Замок я изучаю методично, крыло за крылом, пользуясь тем, что теперь свободна ходить почти везде — почти, потому что поводок всё-таки тянет за мной Кассиана или, когда он занят, вынуждает нас расходиться не дальше, чем на этаж. За три недели поводок удлинился заметно: мы можем быть теперь в разных концах одного крыла, не сгибаясь от боли. Привыкаем. Как к кандалам, он сказал. Цепь не короче, но вес не так чувствуется.

Тьерра водит меня по Чёрному Шипу, рассказывает то, что знает. Она здесь родилась, знает каждый камень. И от неё, по крупицам, я собираю то, чего не расскажет никто из Хельгрейвов: каким замок был раньше.

— Вот здесь был зимний сад, — говорит она, открывая дверь в пустой, вымороженный зал с мёртвыми кадками. — При старой княгине. Она привезла растения с юга, они цвели даже зимой, под стеклом. Князь велел всё выморозить после её смерти. Сказал — не выносит живого там, где её больше нет.

— А это? — Я трогаю заколоченную дверь в конце коридора.

Тьерра опускает глаза.

— Её покои, миледи. Княгини Элейны. Заколочены двенадцать лет. Князь приказал, чтобы никто не входил. Там всё, как было в день, когда она уехала на те переговоры. — Служанка понижает голос. — Говорят, князь сам туда иногда ходит. Ночами. Один. Но при свете дня велит делать вид, что двери нет.

Я смотрю на заколоченную дверь и чувствую, как во мне поднимается то упрямство, которое всю жизнь доводило деда до белого каления.

— Я хочу увидеть её лицо, — говорю я. — Княгини. Есть портрет?

— В галерее предков, миледи. Но…

— Веди.

Галерея предков Хельгрейвов — длинный тёмный зал в сердце замка, где с чёрных стен смотрят поколения мёртвых. Все в тёмном. Все бледные. У всех одни и те же холодные глаза, что у Кассиана, что у его отца, — порода тьмы, выбитая в каждом лице, как клеймо. Я иду вдоль портретов, и они провожают меня взглядами, и мне кажется, что они знают, чья я кровь, и не рады видеть Аль-Ривен в своём доме.

А в конце галереи, последний в ряду, — её портрет.

Я узнаю её сразу. Не потому, что видела — я видела только синее мёртвое лицо, вспышкой, через связь, у алтаря. А потому, что она здесь единственная не из этой породы.

Княгиня Элейна Хельгрейв написана в светлом. Не в белом с золотом, как Аль-Ривены, — в тёплом, медовом, цвета юга, откуда её привезли. У неё тёмные волосы, как у сына, но глаза

— не холодные. Карие, тёплые, с смешинкой, будто художник застал её за секунду до улыбки. За её плечом — не чёрные башни Чёрного Шипа, а море. Синее, живое, в солнечных бликах. Южное море, которое она обещала показать сыну весной.

Она не похожа на жертву. Она похожа на женщину, которая верила, что в холодный замок тьмы можно принести тепло. Которая верила, что вражду можно кончить миром. Которая поехала на переговоры, потому что кто-то должен был поверить в мир первым.

И за это её убили.

Я стою перед портретом, и во мне что-то болит — не моя боль, я чувствую её, потому что через связь, издалека, из другого крыла, Кассиан вдруг напрягается: он почувствовал, что я смотрю на мать. Он знает. Связь сказала ему. И я чувствую его смятение — ему невыносимо, что я здесь, перед ней, дочь рода-убийцы, разглядывающая лицо его матери, — и одновременно он не идёт мешать. Позволяет. Может быть, впервые позволяет кому-то разделить это с ним.

— Она была добрая, — тихо говорит Тьерра за моей спиной. — Моя мать служила ей. Говорила — единственная за все годы, кто смотрел на слуг как на людей. Кто велел жечь тёплые свечи. Кто сажал яблони. — Служанка сглатывает. — Когда её привезли в гробу, весь замок плакал. Даже стража. А молодой лорд… ему было шестнадцать. Он не плакал. Он просто перестал. Понимаете? Был мальчик — живой, смеялся, бегал в сад, — а стал… то, что сейчас. За одну ночь. — Она смотрит на портрет. — Князь в ту же неделю велел выморозить сад, заколотить покои, убрать жёлтые свечи. А молодой лорд велел только одно: оставить этот портрет. Все хотели убрать — больно смотреть. Он не позволил. Сказал: пусть висит. Пусть я помню, за что ненавижу.

«Пусть я помню, за что ненавижу».

Я смотрю в тёплые карие глаза мёртвой женщины и понимаю Кассиана до самого дна. Этот портрет — не память о матери. Это его точильный камень. Двенадцать лет он приходит сюда и точит об него свою ненависть к моему роду, чтобы она не затупилась, чтобы держала его стены. Женщина, которая верила в мир, после смерти стала знаменем войны. Злее насмешки не придумаешь.

— Тьерра, — говорю я, не отрывая глаз от портрета. — Твоя мать служила ей. Она рассказывала про те переговоры? Про то, как это случилось?

Служанка молчит так долго, что я оборачиваюсь. Лицо у неё испуганное.

— Миледи, об этом не говорят.

— Я знаю, что не говорят. Я прошу тебя сказать. — Я беру её за руки. — Тьерра. Дважды уже травили. Её — двенадцать лет назад. Меня — три недели назад, в саду. Один и тот же яд, один почерк. Кто-то стравливает наши роды нарочно, и он всё ещё здесь, всё ещё травит. Если ты что-то знаешь — даже слух, даже сплетню, — ты можешь помочь остановить это. Прошу.

Тьерра смотрит на меня, потом на портрет, потом на двери — не идёт ли кто. И говорит, едва слышно:

— Мать рассказывала одно. Только раз, перед смертью, в горячке, может, и бредила. — Она сглатывает. — Что на тех переговорах было третье посольство. Не Хельгрейвы, не Аль-Ривены. Люди Короны. Посредники. Они привезли вино — то самое, в котором был яд. Подарок его величества обоим родам в знак поддержки мира. — Её голос падает совсем. — Вино разливал королевский виночерпий. Из королевских бочек. Но отравленным оказался только кубок княгини Элейны. И когда она упала, люди Короны первыми закричали, что это Аль-Ривены, что видели, как кто-то из светлых подсыпал. А потом это посольство уехало в ту же ночь, и больше их никто не видел, и имён их в хрониках нет. Мать говорила — будто их и не было. Будто кто-то вычистил их из памяти замка.

Я стою, не дыша.

Люди Короны. Королевское вино. Отравлен только кубок княгини — единственной, кто верил в мир. И первыми обвинили Аль-Ривенов — те, кто привёз вино.

— Королевский виночерпий, — говорю я медленно. — Как его звали? Твоя мать называла имя?

— Нет имени, миледи. Но... — Тьерра морщит лоб, вспоминая бред умирающей матери двенадцатилетней давности. — Она говорила про цепь. Что у старшего в том посольстве была цепь на груди. Серебряная. С королевским знаком. Знак посланника.

Серая цепь. Знак королевского посланника.

Такая же, как у человека, который сейчас гостит в Чёрном Шипе и наблюдает за нами от имени короля. Такая же, как у Феррана.

Нет. Не может быть, что это тот же человек, — Феррану на вид пятьдесят, двенадцать лет назад он был бы слишком молод для старшего в посольстве. Но знак тот же. Должность та же. Корона. Те же серые люди с теми же цепями, из поколения в поколение делающие одно и то же дело: следить, чтобы роды резали друг друга, и чтобы ни один не стал слишком силён, и чтобы трон, сталкивая их лбами, оставался на месте.

Корона.

Это была Корона. Двенадцать лет назад Корона отравила мать Кассиана — единственную, кто мог кончить войну миром, — и свалила на мой род, чтобы война продолжалась. А три недели назад Корона — или тот, кто говорит её голосом, — пыталась убить меня, чтобы разорвать пару, которая стала слишком сильна, и снова свалить на другой род, и снова разжечь.

Не Аль-Ривены убили княгиню Элейну. И не Хельгрейвы стреляли в меня.

Это всё одна рука. Серая рука с серебряной цепью.

Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, и хватаюсь за раму портрета. И в тот же миг, через связь, за два крыла от меня, Кассиан вскакивает — я чувствую, — он поймал мой ужас, мой обвал, и уже идёт, бежит сюда, не разбирая, встревоженный до бешенства.

Я смотрю в тёплые карие глаза мёртвой княгини.

— Я узнаю, кто это сделал, — говорю я ей тихо, одними губами. — Клянусь. Не роду. Вам. Я узнаю имя человека с серебряной цепью, который отнял у вашего сына и мать, и душу. И тогда посмотрим, кто в этом замке проснётся с ножом в горле.

Клятва выходит другая, чем та, что я дала деду месяц назад. Та была про месть вслепую. Эта — про справедливость.

Двери галереи распахиваются. Кассиан влетает, бледный, с тьмой, вьющейся у плеч, готовый убивать, — и замирает, увидев меня целой, живой, стоящей перед портретом его матери.

— Что случилось, — выдыхает он. — Я почувствовал, как будто ты... Что?

Я смотрю на него. На его лицо, в котором теперь, зная всё, я вижу того мальчика шестнадцати лет над открытым гробом. И я понимаю, что не могу сказать ему здесь, сейчас, с разбегу: «Твою мать убила Корона, а мой род ни при чём». Не потому, что боюсь. А потому, что это сломает его. Двенадцать лет его держала ненависть к Аль-Ривенам. Вырвать эту опору разом — значит обрушить всё. Ему нужны доказательства, не слова служанки из бреда её матери. Иначе он решит, что я выгораживаю род. Иначе он не поверит — не сможет поверить, слишком страшно поверить, что точил нож не на того.

Мне нужно имя. Доказательство. Прежде чем я вырву у него точильный камень, я должна дать ему новую опору взамен — настоящего врага, с именем и лицом.

— Ничего, — говорю я. — Я просто смотрела на неё. — Я снова поворачиваюсь к портрету. — Она красивая, Кассиан. И добрая. Это видно по глазам. — Я делаю паузу. — Она не заслужила того, что с ней сделали. Никто не заслужил.

Он подходит. Встаёт рядом, перед материнским портретом, впервые за, я уверена, долгое время — рядом с кем-то. И я чувствую через связь, как ему тяжело стоять здесь со мной, с дочерью тех, кого он винит, — и как одновременно, вопреки всему, ему становится чуть легче оттого, что он здесь не один.

— Да, — говорит он глухо. — Не заслужила.

Мы стоим перед мёртвой женщиной, которая верила в мир, — враги по крови, союзники по беде, связанные так, что не разнимет смерть. И я держу в себе страшное знание и молчу, потому что ещё не время.

Но я уже знаю, что буду делать дальше.

Я найду доказательство. Я найду имя человека с серебряной цепью. Я начну с Феррана — он Корона, он здесь, он что-то знает. А если понадобится — я вернусь в Солнечный Предел, в архивы деда, потому что если кто и хранит правду о тех переговорах, то старые лисы, которые на них были.

Я не знаю ещё, что, потянув за эту нить, размотаю клубок, на дне которого окажется не только Корона.

Что серебряная цепь вела не только к трону.

Что у человека, заказавшего яд для княгини Элейны, было ещё и второе лицо — родное, домашнее, с теми же светлыми глазами, что у меня.

Я не знаю ещё, что ищу собственного деда.

Я стою перед портретом чужой убитой матери, держу за руку её осиротевшего сына и клянусь найти убийцу, не подозревая, что клянусь привести на плаху собственную кровь.

Глава 10. Срыв

Кассиан

Я срываюсь на двадцать шестой день, и срыв мой начинается с мелочи, с ерунды, с того, что Лиара улыбается не мне.

Она улыбается Феррану.

Это часть игры — я сам её этому учил. «Будьте той, кем он хочет вас видеть». Королевский наблюдатель желает видеть счастливую, обжившуюся пару, и Лиара играет своё с тем же холодным мастерством, с каким я играю своё. За ужином она смеётся над суховатой остротой Феррана, расспрашивает его о столице, о дворе, о том, как там носят волосы и что читают, — и серый человек оттаивает под этим рыжим теплом, насколько вообще способен оттаять, и рассказывает, и даже позволяет себе что-то вроде улыбки.

Я знаю, что она играет. Я знаю, что это стратегия — она выспрашивает его, подбирается к чему-то, у неё в последние дни появился этот охотничий прищур, будто она идёт по следу. Я знаю всё это разумом.

Но связь не знает разума.

Связь только чувствует — тепло, которое она источает, направлено не на меня. Её смех достаётся другому. Её внимание, её живой огонь, от которого в этом мёртвом замке впервые за двенадцать лет стало чем дышать, — всё это она сейчас дарит серому человеку Короны, а я сижу напротив и держу кубок, которого не чувствую на вкус, и во мне поднимается что-то чёрное, горячее, незнакомое.

Ревность.

Я не узнаю его сначала — я не ревновал никогда, мне некого и не к кому было. Но оно растёт, это чувство, с каждой её улыбкой, достающейся не мне, и к концу ужина я уже не слышу, о чём они говорят, слышу только кровь в ушах, и тени у стен зала поднимаются сами, тянутся, густеют, и слуги жмутся к колоннам, чувствуя, что князь не в себе.

Лиара чувствует тоже. Конечно, чувствует — связь работает в обе стороны. Она бросает на меня быстрый взгляд, и в нём — предупреждение: не сейчас, не здесь, при нём. Держись.

Я держусь. Весь ужин. Из последних сил.

А потом Ферран делает то, чего делать не стоило.

— Леди Лиара, — говорит он, поднимаясь, — беседа с вами — единственная отрада в этом суровом краю. Признаюсь, я не ожидал найти при дворе тьмы столь… солнечное общество. — И он берёт её руку. Склоняется. Касается губами её пальцев — тех самых, где темнеет вязь, зеркаля мою. Придворная любезность, пустая, ничего не значащая.

И я взрываюсь.

Не пламенем — хуже. Тенью. Тьма срывается с меня прежде, чем я успеваю её удержать, — вся, разом, двенадцать лет сжатой в кулак тьмы, — и обрушивается на Феррана. Тени хватают его, отрывают от её руки, вздёргивают, впечатывают в колонну. Кубки летят со стола. Слуги с криком бросаются вон. Ферран хрипит, схваченный за горло чёрным, ноги его болтаются над полом, и бесцветные глаза выкатываются — впервые за всё время я вижу на его лице настоящее чувство. Страх.

— Убери от неё руки, — говорю я, и голос мой не похож на мой. — Ещё раз коснёшься — и ни король, ни Тьма тебя не спасут.

— Кассиан! — Лиара на ногах. — Отпусти его!

Я не отпускаю. Я не могу. Тьма вышла из берегов, двенадцать лет плотины рухнули разом, и я тону в чёрном, в ярости, в этом новом, страшном чувстве, которое говорит мне: он коснулся того, что моё, он посмел, убей.

— Кассиан. — И тогда она делает единственное, что может. Она касается меня.

Её ладонь ложится мне на запястье — вязь к вязи, огонь к тьме, — и связь вспыхивает между нами, и через неё в меня хлещет не огонь, а... прохлада. Она гасит. Она намеренно, усилием воли льёт в меня через связь покой, своё тепло — не жар ярости, а то, другое тепло, которым грела мне спину по ночам, — и моя тьма, встретив его, вздрагивает и опадает.

Ферран сползает по колонне, хватаясь за горло, кашляя.

Тени возвращаются к стенам. Я стою, тяжело дыша, и медленно прихожу в себя, и первое, что вижу, придя, — это лицо Лиары. Не испуганное. Разгневанное.

— Выйди, — говорит она Феррану, не глядя на него, глядя только на меня. — Ваша светлость. Прошу. Князю нездоровится. Избыток накала после упражнений — это бывает. Я о нём позабочусь.

Ферран, держась за горло, пятится к дверям. У порога оборачивается — и на его лице, сквозь страх, я вижу то, отчего кровь стынет даже сквозь не остывшую ярость: удовлетворение. Он нарочно. Он коснулся её руки нарочно, чтобы спровоцировать меня, чтобы проверить — и я дал ему именно то, что он искал. Доказательство. Что князь Хельгрейв теряет рассудок, когда кто-то приближается к его жене. Что пара связана не только магией. Что есть рычаг.

Я сам вложил ему в руки рычаг, который он искал три недели.

Двери за Ферраном закрываются. Мы остаёмся вдвоём в разгромленном зале, среди опрокинутых кубков и жмущихся теней, и Лиара медленно убирает руку с моего запястья, и связь, лишившись касания, тут же начинает ныть.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сделал, — говорит она. Тихо. Это хуже крика. — Ты понимаешь?

— Он коснулся тебя.

— Он поцеловал мне руку. При всех. Как целуют руку любой знатной даме. — Она смотрит на меня, и в её глазах — не только гнев. Страх. За меня, я чувствую, не за себя. — А ты вздёрнул королевского наблюдателя на тенях у всех на глазах. Из-за поцелуя руки. Кассиан. — Она подходит ближе. — Это ровно то, чего он ждал. Я три недели подбиралась к нему, выпытывала про старые переговоры, про людей Короны — осторожно, по капле, чтобы он не заметил, — и ты одним срывом доказал ему, что мной тебя можно гнуть. Теперь он знает. Теперь они все знают. — Её голос срывается. — Ты сам надел на нас петлю, которую искал мой дед, твой отец, Корона — все. Петлю из того, что ты ко мне чувствуешь.

Я знаю, что она права. От этого только хуже.

— Я не хотел, — говорю я, и это звучит жалко, как оправдание мальчишки. — Оно вышло само. Я никогда... Лиара, я никогда ничего ни к кому не чувствовал двенадцать лет. Я не умею. Я не знаю, что с этим делать, когда оно... когда ты...

Я не договариваю. Не могу. Признание повисает в разгромленном зале, недосказанное, но понятное нам обоим.

Она молчит. Потом говорит — медленнее, тише, и гнев в её голосе сменяется чем-то, от чего мне ещё страшнее:

— Расскажи мне. Почему так. Не «вышло само» — я чувствую, что под этим что-то есть. Корень. Расскажи, или я никогда не пойму, как с тобой быть.

И я рассказываю. Не потому, что хочу, — потому, что связь всё равно не даст соврать, и потому, что устал. Двенадцать лет устал.

— Когда я нашёл её, — говорю я, и голос мой ровен, потому что иначе я не смогу, — мать, в гробу, ночью, — я понял одну вещь. Что я отпустил её. Утром, когда она уезжала на переговоры, я не вышел проводить. Поссорились из-за ерунды, я, шестнадцатилетний дурак, дулся. Она уехала, а я не вышел. И больше её не видел живой. — Я смотрю на опрокинутые кубки, на тёмное вино, растёкшееся по камню, как тогда. — С тех пор я не умею отпускать. Понимаешь? Если кто-то, кто мне дорог, уходит, отдаляется, тянется к кому-то другому, — во мне поднимается тот день. Тот непроводённый. И я... я хватаю. Держу. Любой ценой. Потому

что один раз я отпустил — и получил гроб. — Я поднимаю на неё глаза. — Я знаю, что это уродливо. Я знаю, что так нельзя. Это не любовь, Лиара, — это страх. Страх снова не успеть. Снова найти того, кто мне дорог, синим и с открытыми глазами. И когда Ферран коснулся тебя, а ты улыбалась ему, не мне, — во мне поднялся тот день. И я... схватил.

В зале очень тихо.

Лиара смотрит на меня долго. И я чувствую через связь, как в ней гнев окончательно гаснет — не потому, что я прав, я не прав, — а потому, что она поняла. Увидела корень. Не чудовище, которое душит соперника из ревности, а раненого мальчика, который один раз отпустил и с тех пор не может разжать рук.

— Это всё равно нельзя, — говорит она наконец. — То, что у этого есть причина, не делает это можно. Ты понимаешь? Я не стану вещью, которую держат из страха потерять. Я была вещью всю жизнь — у деда, у рода. Монетой, оружием. Я не буду ещё и твоим... утешением от старого горя. — Она делает шаг ко мне. — Но.

— Но?

— Но я скажу тебе одно, Кассиан Хельгрейв, и слушай внимательно, потому что дважды я этого не произнесу. — Она смотрит мне прямо в глаза. — Я улыбалась Феррану, потому что охотилась. Не потому, что хотела его тепла. Моё тепло — если оно у меня есть, если во мне вообще осталось хоть сколько-то тепла после того, как меня всю жизнь им не грели, — моё тепло не для серых людей Короны. — Она сглатывает, и я вижу, чего ей стоит это сказать. — Так что тебе незачем было хватать. Оно и так... оно и так тянется не к нему. Ты бы почувствовал, если бы не ослеп от своего страха. Болван.

И связь между нами в этот миг говорит мне то, что она не договаривает словами. Её тепло. Куда оно тянется. К кому.

Ко мне.

Мы стоим в разгромленном зале, в ладони друг от друга, и оба знаем, что сейчас перешли черту, которую я так старательно оборонял после сада. Что договор ненависти не просто трещит — его больше нет. Что Ферран получил своё доказательство, а мы — своё: нас нельзя разнять не только потому, что убьёт угасание. А потому, что мы уже не хотим быть порознь.

И это, как любит повторять мой же голос, меняет всё.

— Прости меня, — говорю я. Два слова, которых я не говорил никому двенадцать лет. — За зал. За то, что выдал нас. За то, что я... такой.

— Прощаю, — говорит она. И, помолчав, добавляет то, от чего у меня перехватывает дыхание: — Но если ты ещё раз назовёшь меня «леди» тем своим холодным голосом, будто мы чужие, — я сама вздёрну тебя на твоих же тенях. У меня, может, нет тьмы, но огонь у меня злее. Усвоил?

— Усвоил, — говорю я. И впервые за двенадцать лет чувствую, что улыбаюсь по-настоящему — не как оружие, не как маска. Просто улыбаюсь. Ей.

Она ловит это через связь — мою настоящую улыбку — и на миг теряется, будто не ждала, что я на такое способен. А потом отворачивается, пряча что-то на своём лице, и ворчит:

— Помоги лучше поднять кубки, пока слуги не решили, что мы тут поубивали друг друга. И завтра будешь извиняться перед Ферраном. Лично. Сквозь зубы, но убедительно. Нам нужно, чтобы он думал, будто сегодняшнее — случайность, а не правило. Иначе он напишет королю, что нас можно разнять через твою ревность, и тогда...

— И тогда они попробуют, — тихо заканчиваю я. — Через тебя. Доберутся до меня через тебя.

Мы замолкаем оба. Потому что это и есть та петля, которую я сегодня сам затянул. Теперь Корона знает: чтобы сломать князя Хельгрейв, не нужно трогать князя Хельгрейв. Нужно только протянуть руку к его рыжей жене.

Я поднимаю опрокинутый кубок. Лиара собирает осколки другого. Мы прибираем разгромленный зал молча, вдвоём, как делают это супруги после ссоры, — и впервые это слово, «супруги», не обжигает меня изнутри.

А высоко в гостевом крыле серый человек Короны прикладывает к горлу холодное и пишет при свете единственной свечи: «Подтверждено. Князь теряет власть над собой, когда его жене угрожает внимание другого. Привязанность достигла той степени, при которой пару можно нейтрализовать через угрозу одному из супругов. Жду приказаний двора относительно того, который из двоих будет рычагом, а который — целью».

Он ставит печать. Зовёт птицу.

Я этого не вижу. Я впервые за двенадцать лет засыпаю в ту ночь, повернувшись к жене лицом, а не спиной.

И впервые за двенадцать лет мне снится не гроб.

Мне снится море. И на берегу — рыжий огонь, который не обжигает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.